Ю. МАРТОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ и УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ 1870–1905 г.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Неопубликованная статья „Французские события с точки зрения русского этико-социолога"



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КНИГА»
Ленинград, Пр. 25 Окт., 74.—Телеф. 1-34-34 и 1-70-94
Москва, Тверская, д. № 38.—Телеф. 2-64-61 и 3-77-23
1924

ТИПОГРАФИЯ
«КРАСНЫЙ АГИТАТОР»
:: ЛЕНИНГРАД. ::
7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 26

242
25

Ленинградский Гублит № 4913

Тираж 5000

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В основу настоящего тома положена работа *Ю. Мартова*, написанная им в 1910 г. для коллективного труда «История русской литературы в XIX веке», выходившего под редакцией профессора Овсянико-Куликовского в издательстве «Мир». Затем следует связанное с этими очерками по теме одно из первых литературных произведений Ю. Мартова, первоначально появившееся под заглавием «Народничество прежде и теперь» в первом легальном марксистском журнале «Новое Слово» в 1897 году. Относительно этой статьи Мартов пишет в своих «Записках Социал-Демократа»:

«Я взялся» — находясь в течение всего 1896 г. в Доме Предварительного Заключения по делу «Союза Борьбы» — «за собирание материалов для задуманной мною серии критических статей о судьбах русского народничества с 70-х по 90-е годы, предполагая дополнить то, что сделал Ульянов (Ленин) в своей статье в сожженном «Сборнике». Дело в том, что Ульянов для характеристики реакционности и антинародности упадочного народничества 90-х годов построил свою статью на параллели между классически последовательным демократизмом и радикализмом народников-семидесятников (Ульянов брал для образца Г. З. Елисеева) и их эпигонами из «Русского Богатства». Для обличительной цели, какую ставил себе В. И. Ульянов, это было достаточно. Но мне представлялось необходимым внимательно проследить всю эволюцию легального народничества за четверть века с точки зрения развития и раскрытия заключенных в нем с самого начала противоречий между его революционно-утопической враждой к всякой «буржуазности», ко всему укладу капитализма, и реформистски-приспособленческим оппортунизмом, вытекающим из стремления обойти путь классовой борьбы. Самый декаданс народничества 80 и 90-х годов должен был явиться результатом развития второй его стороны по мере посрамления действительностью его первой, утопической. Библиотека Предварилки дала мне обильный материал для изучения идей-

ных течений 70 и 80-х г.г., и я усердно собирал этот материал для статей, которые написать мне удалось уже в ссылке» («Записки», стр. 311-11). И *далее:* «Ко времени прибытия моего в Туруханск я узнал о крупном событии в жизни социал-демократии: журнал «Новое Слово» попал в руки компании Струве, Туган-Барановского — Богучарского и стал в полном смысле слова легальным органом складывающейся партии. Я поспешил принять личное участие в журнале и подготовил к печати серию статей о народничестве, для которой собрал материалы в «Предварилке». Серия под заглавием «Народничество прежде и теперь» и за подписью *А. Егоров* (псевдоним этот я составил из двух революционных своих кличек: Алексеем звали меня в Вильно и Егором — в питерском Союзе Борьбы) начала печататься в ноябрьской книжке «Нового Слова». Но — увы! — это была последняя книжка журнала; следующая с продолжением моей статьи была конфискована при выходе и лишь очень немногие экземпляры ее попали в публику» (стр. 396).

Дальнейшие статьи серии так и остались ненапечатанными и рукопись их утрачена.

К названным работам присоединена и *неопубликованная* до сих пор статья «Французские события сквозь очки русского этико-социолога», рукопись которой найдена в бумагах Ю. Мартова уже после его смерти и которая очевидно написана тоже в Туруханской ссылке в начале 1899 г. и предназначалась для сменившего «Новое Слово» журнала «Начало». На частном примере — отношение к «делу Дрейфуса» и вызванному им среди французской интеллигенции движению — статья подвергает критике народнические взгляды на интеллигенцию, как на самостоятельный фактор в общественной жизни, и связанное с ними отрицательно-высокомерное отношение к классовой борьбе. Таким образом, статья эта служит естественным дополнением к двум другим работам.

В. Е.

Немногочисленные пояснения, принадлежащие редакции, помещены в прямые скобки.

I. Общественные и умственные движения 70-х годов.

I.

Состояние общества.

Общественное движение, вызванное к жизни крымским разгромом, через 10 лет совершенно угасло. Его сил хватило лишь на то, чтобы поддержать монархию в ее робких попытках реформировать общественные отношения России ровно в той мере, в какой этого безусловно требовали военные и фискальные соображения. Там, где общественное движение пыталось осуществить более далеко идущие цели, оно оказывалось бессильным, лишенным прочной базы. Его правое крыло — культурная часть земельного дворянства — по самой своей социальной природе было неспособно к последовательной борьбе за радикальную ликвидацию старого режима: ибо такая ликвидация подрывала основы его собственного хозяйственного существования. Достаточно было самых слабых проявлений крестьянского движения, направленного против половинчатости реформ 19 февраля и против ее экспроприационных тенденций, чтобы усилить реакционные и консервативные настроения в «просвещенной» части землевладельцев. С другой стороны, левое крыло освободительного движения, представленное разночинной интеллигенцией и демократическим студенчеством, оказывалось совершенно изолированным от крестьянской массы, слишком некультурной, невежественной и забитой, чтобы реагировать сколько-нибудь широким движением на совершенное над нею в 1861 году насилие. Ряд решительных репрессивных мер правительства против этого, еще численно слабого общественного слоя, — мер, направленных как против его явно-революционных элементов и идеологических вождей (М. Михайлов, Н. Г. Чернышевский, Шелгунов, Щапов и мн. др.), так и против более умеренных его групп (закрытие воскресных школ, гонения на печать и университеты), совершенно парализовал силы этой интеллигентской демократии. Неизбежное следствие общерусского под'е-

ма — польское восстание — окончательно изолировало ее от широких масс городского населения, среди которого реакционная демагогия вызывала националистическое брожение. Получив под Варшавой реванш за севастопольское поражение, представители старой России вслед за тем, пользуясь падением бонапартовской гегемонии и восхождением звезды Пруссии, подняли свой международный престиж и тем *укрепляли* одну из главных традиционных своих позиций в борьбе с прогрессивными общественными силами.

Иллюзии начала шестидесятых годов были безжалостно разбиты. Одна за другой «великие» реформы, проведенные бюрократическим правительством, разочаровывали передовые элементы «общества» и интеллигенции. Крестьянское и земское самоуправление, свободная печать и независимый суд оказались фикцией. Потребность в общественной самодеятельности, с такой острой силой проявившаяся после краха николаевского режима, не находила себе и минимального удовлетворения в учреждениях, созданных реформами.

Реформы 60-х годов были проведены в целях открытия дороги развитию капиталистических отношений. Таков был их социально-экономический смысл. Но, проводимые при отсутствии давления крупных социальных сил, заинтересованных в том, чтобы ломка старых экономических отношений совершалась возможно радикальнее и сопровождалась передачей им самим доли политического влияния, «великие реформы» сохранили политические отношения старой России, поскольку дворянство оставалось единственным господствующим классом, а органически связанная с дворянством бюрократия продолжала держать в своих руках политическую диктатуру над обществом. Но она не только сохраняла эту диктатуру; реформы значительно усилили ее, увеличив численно кадры бюрократии, разорвав непосредственную связь администрации с местным дворянством, ослабив, хотя и не уничтожив, непосредственную опеку дворянства над крестьянами, создав в лице капиталистической буржуазии новую опору правительства и, наконец, положив начало экономическому «оскудению» дворянской массы, растеривавшей свои земли.

Таким образом, торжественно похороненная энтузиастами 60-х годов, бюрократия в результате реформ лишь укрепила свое положение. Общественные же движения, ознаменовавшие собою половину десятилетия, достаточно напугали ее, чтоб на долгое время побудить держать новые государственные и общественные учреждения под бдительным контролем, направленным к устранению из них всякой самодеятельности и оппозиции. Уже в конце 60-х годов земства (петербургское) подверглись суровой расправе за попытку заикнуться

о расширении прав; в течение всех 70-х годов губернаторы и министры на каждом шагу теснят деятельность земств; почти все ходатайства земств встречают отказ. Компетенция и независимость новых судебных учреждений тотчас же по их введении подвергаются систематическому урезыванию. В университетах и гимназиях, с назначением Д. Толстого министром народного просвещения, водворяется дух полицейского сыска и казарменной муштровки. Печать, номинально освобожденная от цензуры, отдана в жертву административному усмотрению. Функции государственной полиции — знаменитого «третьего отделения» — остались почти столь же всеобъемлющими, как были при Николае I. Словом, во всех сферах управления правительство держалось настороже, стремясь подавить в зародыше всякое общественное движение, грозящее заполнить прогрессивным содержанием новые учреждения.

Реформа 19 февраля, лишив крестьянство значительной части владеемой им земли, не ослабила, а, напротив, обострила напряженный антагонизм между ним и классом землевладельцев. Во всей силе сохранились кабальные формы землевладельческого хозяйства, и острая нужда крестьянской массы в земле способствовала их распространению, лишая помещиков всякого импульса к улучшению способов производства. В течение 60-х и 70-х годов техника сельского хозяйства почти не прогрессировала, а во многих местностях явно регрессировала. Замечавшееся в первые годы после освобождения стремление помещиков обзаводиться усовершенствованными орудиями и вводить лучшие способы обработки очень скоро привело к полному разочарованию: на почве кабальных отношений к разоренному крестьянству не могли привиться европейские методы сельскохозяйственной культуры.

Крестьянин, вынужденный опутывать себя всевозможными договорами, восстанавливавшими почти крепостную зависимость его от помещика, мстил последнему, как только мог. Жалобы на недобросовестность арендаторов и сельских рабочих, делающую невозможным ведение правильного хозяйства, не прекращаются в лагере помещиков. Что эти жалобы соответствовали действительному положению, констатирует и Энгельгардт, автор «Писем из деревни», стоявший на народнической точке зрения; но ему ясна связь этих явлений со всей крепостнической структурой социально-экономических отношений в деревне.

Несмотря на рост хлебных цен в течение 70-х годов, помещичье хозяйство земледельческой полосы, связанное в своем развитии кабальными отношениями, клонилось к упадку. Росла задолженность, земли уплывали из дворянских рук

в руки купцов и разбогатевших крестьян и мещан. Наиболее подвижная и культурная часть земельного дворянства переселялась в города, отказываясь от непосредственного ведения хозяйства. Часть реализовала выкупные свидетельства в акциях и облигациях капиталистических предприятий, переходя в ряды буржуазии; часть уходила в либеральные профессии; наконец, часть поглощалась бюрократией. В последнюю именно часть входили «оскуделые» слои дворянства, для которых крестьянская эмансипация лишь ускорила еще ранее начавшееся, но задерживаемое крепостным правом, разорение. Некультурное и насквозь пропитанное крепостническими традициями, это оскуделое дворянство составило главные кадры той армии «обрусителей», которых заклеймил в своих «Ташкентцах» Щедрин и которыми правительство умело пользовалось для проведения своих видов в Польше, и Литве, на Кавказе и в Средней Азии [1]).

«Отбор» жизнеспособных элементов, производимый пореформенным городом, должен был сказаться самым угнетающим образом на развитии главнейшего из новых общественных учреждений — земства. Отданное положением 1864 г. в руки землевладельцев, земство в течение первых 15 лет своего существования в большинстве губерний лишь кое-как прозябает. В местном дворянстве не хватает интеллигентных сил для ведения земских дел. Недобор гласных — частое явление, жалобы на абсентеизм земских гласных заполняют прессу того времени. Сплошь и рядом, благодаря оскудению местного дворянства, земское хозяйство уезда попадает в руки одного-двух семейств, своекорыстно распоряжающихся земским пирогом. Соответственно этому и в непосредственной связи с правительственным давлением, которому оно подвергалось, земство вплоть до 80-х годов, в общем и целом, весьма мало делает для поднятия народной культуры. Зато оно самым бесцеремонным образом распределяет налоги, облагая крестьянские земли вдвое и втрое выше, чем частновладельческие.

Лишь в северной нечерноземной полосе, где кабальные отношения в большей степени были вытеснены капиталистическими, где крестьяне еще до 1861 года уже состояли на оброке, мы встречаем в 70-х годах типичные либеральные земства, ставшие культурными и в известной мере оппозиционными очагами провинциальной жизни. Деятельность

[1]) В течение 60-х годов закончено завоевание Кавказа, начато покорение Средней Азии (Ташкент, Заравшан, Самарканд); упразднена автономия Польши. В 70-х годах завоеваны Коканд и часть Хивы.

прогрессивных элементов дворянского сословия здесь направляется в сторону постановки земской медицины, распространения начального образования, развития кустарных промыслов и кооперации и т. п.

Для крестьянства описываемая эпоха явилась временем небывалой ломки всей его хозяйственной жизни. Произведенная в 1861 г. экспроприация крестьянских земель, выкупные платежи, рост косвенных и прямых налогов уже сами по себе означали громадное бремя, взваленное на крестьянские плечи. В то же время проведение железных дорог способствовало вторжению капитализма в деревню. Рядом с сохранившейся и местами усилившейся экономической зависимостью крестьянина от помещика росла его зависимость от хлеботорговца, скупщика кустарных изделий, крупного с'емщика сдаваемых крестьянам земель. Жалкий экономический уровень крестьянской массы и ее подавляющая некультурность не позволяли ей приспособиться к изменившимся условиям и, в лице сколько-нибудь значительных слоев, использовать экономический прогресс общества. Сдавленные путами фискально-полицейской общины и сословно-бюрократической опеки, наиболее энергичные элементы крестьянства ищут внутри собственного замкнутого мирка способов противостоять захлестывающей деревенское море волне экономического прогресса. На плечах все ниже опускающейся крестьянской массы стараются они выбиться из тисков необеспеченности и бедности. Кулачество и мироедство — вот та форма, в которую преимущественно выливается процесс образования мелкобуржуазного слоя крестьянства, — форма, исключающая значительное возрастание этого слоя. Единицы кулачествуют и «выходят в люди»; громадная, подавляющая масса крестьян пауперизируется, и лишь на фоне этой повальной пауперизации статистика впоследствии проследит все же совершающийся процесс экономической дифференциации, намечающий образование относительно зажиточных крестьян, полупролетарских «горе-хозяев» и безлошадного и безземельного чистого пролетариата. Пока лишь более чуткие из наблюдателей, как Успенский, Златовратский, Щедрин, Энгельгардт, замечают, что и вне кулачества, в подавляемой им сельской общине среди «трудового» по общему своему складу и «сплошного» крестьянства появляется тип «хозяйственного мужичка», мелкого буржуа, приспособившегося к новой экономической обстановке и в то же время свободного от паразитических черт, характерных для кулака. Еще менее бросается в глаза выделяемый сельской общиной чистый пролетариат: общинное землевладение и паспортная система позволяют скрадывать это явление, тем более, что различие благо-

состояния между чистым пролетарием и разоряющимся самостоятельным крестьянином очень незначительно.

Разложение крестьянского хозяйства вносило расстройство в функционирование сельской общины, а полицейский и сословный гнет все более придавал последней характер учреждения, приспособленного к общей задаче закрепощения крестьянина государству. Поскольку личность крестьянина росла под влиянием изменений в экономических условиях его существования, она приходила поэтому в столкновение с общиной. Антиобщинные индивидуалистические тенденции одинаково обнаруживались и на буржуазно-кулацком, и на пролетарском полюсе деревни. Кулацкие и буржуазно-«хозяйственные» элементы порой встречали в общине отпор своим попыткам выбиться вверх на плечах большинства, хотя в иных случаях община и облегчала им процесс порабощения неимущей массы. По отношению к элементам пролетарским деревенский мир сам фигурировал в роли закабаляющего органа, пользующегося переданной ему государством властью для удержания на земле разоренных хозяев.

Однако, противоположность сословных интересов между землевладельческим дворянством и крестьянством задерживала развитие этих индивидуалистических тенденций и укрепляла общинные традиции. Зависимость от помещика, владевшего необходимой для ведения их хозяйства землей, связывала воедино и зажиточные и разоренные элементы пореформенной деревни. И в тесной связи с этими общинными традициями продолжала владеть умами крестьян мысль о неизбежном исправлении зла, которое им принесла реформа 1861 года, о новом переделе земель, который вырвет из рук помещиков отрезанные от общинного владения угодья.

Чаяния «черного передела», то-есть прежде всего принудительного отчуждения помещичьей земли, были повсеместны в крестьянстве чисто-землевладельческих районов. Но почти нигде в течение второй половины царствования Александра II эти задушевные стремления крестьян не привели их к какому-нибудь массовому движению аграрно-революционного характера. Были изолированные вспышки среди крестьян отдельных местностей, но они вызывались частными поводами особо грубой и жестокой эксплоатации со стороны помещиков. Таково было, напр., громкое Люторическое (Епифанского уезда) дело (1880 г.) о «вооруженном сопротивлении» властям крестьян, разоренных гр. Бобринским. Были порубки, потравы и поджоги, но нигде движение не принимало тех острых форм и тех размеров, какие оно приняло непосредственно после реформы 19 февраля. Известное движение в Чигиринском уезде, Киевской губ., хотя и окрашенное

антипомещичьей и чернопередельческой идеологией, выросло из внутримирских столкновений между зажиточной и бедной частями крестьянства.

Лишь в начале 80-х годов, под несомненным впечатлением городской «смуты», аграрное движение вновь проявилось не в спорадической, а в эпизодической форме в разных районах России, то принимая вид борьбы за понижение аренды, то вырождаясь в участие крестьян в еврейских погромах, то выражаясь в борьбе с властями на почве бойкота чиновников или учреждений (борьба с введением земства в Донской области, борьба с анти-эпизоотическими мероприятиями).

Стоявшее в непосредственной связи с «земельным голодом» крестьянства распространение в его среде некоторых *сект* свидетельствовало о значительном брожении в умах, вызванном коренною ломкою всех условий общественного быта.

В сектах крестьянская мысль выражала идеологически свое недовольство сохранившимся сословно-государственным и нарождающимся капиталистическим гнетом. Но в сфере практической общественной жизни этот протест, как указано, почти не находил своего выражения. Крестьянское самоуправление беспомощно и почти без сопротивления склонялось перед волей местной администрации. Наиболее характерно беспомощность крестьянства выразилась в его отношении к земству. В то время, как земельное дворянство сделало земские учреждения органами укрепления своего положения господствующего сословия, крестьяне отнеслись к участию в земских учреждениях, как к своего рода повинности, и в очень немногих случаях пытались использовать эти учреждения в своих интересах. В течение времени, пока действовало Положение 64 года, крестьяне составляли 38,5% всего числа гласных уездных земств, в то время, как дворянам (и чиновникам) принадлежало 42,4% всех мест. При таком соотношении сил возможна была борьба за влияние. Но ее не было. Около трети крестьянских гласных приходилось на волостных старшин и писарей, т.-е. ставленников бюрократии и предводителей дворянства. В составе губернских собраний, образуемых выборами от уездных земств, крестьяне составляли уже только 6,9%, тогда как дворяне и чиновники — 81,5%. Столь же ничтожно было участие крестьян в исполнительных органах земств — уездных и губернских управах. Земское большинство, ядро которого составляли дворяне, не считалось с крестьянскими гласными. Доля участия в местном самоуправлении, предоставленная крестьянству реформами 60-х г.г., оставлена ими, за редкими исключениями (как Вятская губ.), неиспользованной. Кроме общей некультурности крестьянской массы и ее зависимого право-

вого положения, здесь важную роль играла сословная замкнутость крестьянства, воспитанная веками русской истории и выработавшая в нем глубокое инстинктивное недоверие к данайским дарам, ко всему, исходившему от «барского» мира. Соответственно этому, и там, где в земском дворянстве тон задавали либеральные группы и деятельность земств окрашивалась в известный народолюбивый цвет, — даже и там крестьяне относились к земской деятельности очень пассивно и очень слабо поддерживали прогрессивные земские группы против реакционных. Этому, конечно, только способствовал слабый демократизм либеральных групп земского дворянства.

Рост городов и городского населения явился непосредственным результатом изменений, внесенных реформами 60-х г.г. в общественные отношения. Мы уже упоминали об «эмиграции» в города известной части земельного дворянства. В свою очередь крестьянство поставляло такую же эмиграцию. Прежде всего громадная масса дворовых, освобожденных без земли, потянулась в городские центры. Земельная необеспеченность и податное бремя вызвали усиленный отход крестьян на промыслы. Известная часть этих рабочих оседала постоянно в городе. Наконец, просветительное движение, всколыхнувшее провинцию в начале 60-х г.г., вызвало тягу в центры культуры самых разнородных элементов населения деревень и глухих уездных городов деревенского типа. Усиленное строительство железных дорог содействовало этому процессу. По данным Г. И. Шрейдера, средний городской бюджет, составлявший в 1871 году 29.443 рубля, в 1899 г. доходил до 77.809 рублей. За тот же период расходы городов на учебные заведения возросли в 8 раз, на благотворительные учреждения — в 7 раз, на медицину — в 5½ раз.

Однако, ни рост городов, ни постройка железных дорог, ни общее развитие денежного хозяйства не могли обусловить быстрого развития капиталистической промышленности в эпоху, непосредственно следующую за освобождением крестьян. Стремительный процесс разорения крестьянских масс задерживал расширение внутреннего рынка; слабая, сравнительно, до конца 70-х г.г., таможенная охрана не освобождала русских фабрикантов от заграничной конкуренции, а государственное покровительство железнодорожному делу отвлекало в эту область частные капиталы. В то же время русская буржуазия имела вне сферы крупного производства обширное поле приложения своих капиталов: процесс капитализации кустарных и домашних промыслов сулил ей при малом риске вполне достаточные барыши.

Соответственно этому пореформенная русская буржуазия является перед нами инертным классом, лишенным инициативы и предприимчивости, выколачивающим прибавочную стоимость путем самых грубых «патриархальных» методов эксплоатации. Попытки буржуазной интеллигенции организовывать промышленные с'езды и выставки проходят без заметного влияния на ход промышленности и остаются изолированными. Буржуазия очень мало заботится о распространении технических знаний и решительно ничем не проявляет своего отношения к толстовской «классической» учебной системе, так явно идущей в разрез с потребностями экономического развития.

Общественно-политическая физиономия класса характеризуется соответствующими чертами. В отношении к рабочим — ничем неограниченная эксплоатация и самодурство. Полное отсутствие какого-либо внимания к материальным и культурным потребностям эксплоатируемого класса. Малейшие попытки поднять вопрос об ограждении жизни и здоровья наемных рабочих вызывают среди капиталистов крик негодования и жалобы на нарушение исконных «патриархальных отношений». Малейшая попытка самих рабочих к борьбе вызывает апелляцию к властям, которые с своей стороны проявляют полную готовность подавить насилием самое мирное экономическое движение.

В своем отношении к господствующему сословию буржуазия держится выжидательно. Рассчитывая на неуклонное оскудение дворянства и на мощную поддержку бюрократии в нужных случаях, она не ищет борьбы с дворянством, не посягает на его первенствующее положение. В земствах купечество проявляет не больше агрессивности, чем крестьянство. Борьба купеческой и дворянской партий на земских выборах остается единичным явлением. Но, когда дворяне в земствах пытаются использовать свое привилегированное положение для усиленного обложения торгово-промышленных предприятий, буржуазия ищет помощи наверху и получает ее. Правительство, противопоставляя аграрным тенденциям дворянства заботу о развитии русского капитализма, особым законом устанавливает предельность земского обложения промышленного капитала и тем еще более ослабляет прямую заинтересованность буржуазии в земском самоуправлении.

В области городского самоуправления крупная буржуазия, частью умело эксплоатируя косность и темноту мещанских масс, частью в борьбе с ними, сумела устроить свои отношения с опекающей администрацией так, чтобы избежать постоянных конфликтов, характеризующих жизнь земства. Отдавая «кесарево кесареви», городская буржуазная олигар-

хия не затрагивает общих вопросов, хотя бы только экономической политики, не дает отпора эксцессам администраторов и за это пользуется снисходительным отношением власти к методам ее хозяйничания в городе. При таком положении вещей городское благоустройство оставляет желать лучшего и интересы массы городского населения открыто попираются ногами.

К началу 70-х г.г. на промышленных с'ездах и в собраниях обществ содействия промышленности довольно громко слышатся нотки экономического либерализма. Буржуазная интеллигенция готова искать в освобождении хозяйственной деятельности личности от всяких пут ключ к поднятию производительных сил страны. Но эта пропаганда индивидуалистического либерализма приходилась не ко двору отсталой промышленности и капиталу, тесно связанному с бюрократическим правительством и эксплоатировавшему сохраненные реформами кабальные отношения. По мере того, как выяснялись действительные результаты реформ и испарялись мечты о быстрой европеизации русских общественных отношений, фритредерские и манчестерские тенденции глохнут. К концу десятилетия буржуазия добивается протекционного тарифа и отныне уже только в сохранении и усилении таможенного и всякого иного покровительства ищет рычаг своего развития на основе продолжающейся пауперизации масс. Соответственно этому усиливается политический консерватизм промышленного класса и, чем более к концу десятилетия крепнет либеральная оппозиция передового слоя дворянства, тем решительнее крупная буржуазия подчеркивает свою лойяльность и благонадежность. Националистический характер официальной консервативной идеологии самым непосредственным образом отвечает потребности буржуазии в «охране» ее интересов против иностранной и инородческой конкуренции.

Поведение рабочего класса оказывало малое влияние на настроение буржуазии в 70-х г.г. Эпоха реформ произвела в русском пролетариате перетасовку личного состава, заполнив фабрики массами обезземеленного сельского населения. В течение двух первых пореформенных десятилетий рабочая масса только приходила в себя от обрушившихся на нее комбинированных противоречий старого и нового экономических укладов. Способность к сопротивлению эксплоатации оставалась минимальной. Вплоть до конца 70-х г.г. лишь изредка бурные, и неосмысленные фабричные «беспорядки» свидетельствовали о том, что рабочие не удовлетворены своим положением.

Однако, уже с начала десятилетия в аморфной массе рабочего населения крупных центров начал кристаллизоваться

тонкий слой пролетариев, значительно возвышавшийся над культурным уровнем своей среды. Разнообразный сословный состав фабрично-заводского населения и различие в уровне материального благосостояния отдельных его категорий достаточно об'ясняют то явление, что рядом с очень серой крестьянски-некультурной массой образовался в городском рабочем классе слой, по всему жизненному обиходу и потребностям примыкающий к менее имущим группам, так называемой, интеллигенции. И, несмотря на то, что первые общественные движения в интеллигентской среде были пропитаны аграрно-социалистическим направлением, отрицавшим всякое серьезное значение за русским пролетариатом, представители этих течений с самого начала столкнулись с данным слоем рабочих, как с группой населения, очень чутко отзывавшейся на поднятые движением вопросы. В течение всего десятилетия в крупных городских центрах не переставали возникать социалистические кружки рабочих, примыкавших к тогдашним революционным организациям. В отдельных случаях эти кружки соединялись в более обширные организации, как, напр., южно-русский рабочий союз (в Одессе в 1875 г.), северный союз русских рабочих (в Петербурге в 1878 г.), второй южно-русский союз (Киев — Одесса в 1879 г.) и, наконец, польский «Пролетариат» (в 1882 г.), представлявший собою уже революционную партию, составленную, главным образом, из городских рабочих.

Если, таким образом, процесс формирования этого передового слоя городских рабочих почти с самого своего начала осложнился активной пропагандой революционной интеллигенции, то к концу десятилетия этот процесс непосредственно связывается с ростом недовольства самих рабочих масс, возникающего на почве экономических отношений. Под влиянием толчка, данного промышленным кризисом, который был вызван войной 1877 года, в различных промышленных районах возникли стачки и беспорядки, в которых уже заметно некоторое влияние на массу рассеянных среди нее одиночек-социалистов. Сквозь стихийное стачечное движение начинает пробиваться струя более определенного классового возмущения. К концу семидесятых и началу восьмидесятых годов, когда в образованном обществе продолжают еще царить старые представления о русском рабочем, зоркая администрация зачисляет пролетариат в разряд опасных общественных элементов и в различных официальных документах констатирует наличность в рабочем классе враждебных существующему порядку настроений.

Развитие городской жизни и общая ломка устоев крепостного быта чрезвычайно умножили тот социальный слой

который с этих именно пор начинают называть интеллигенцией, — слой, начинающийся с людей свободных профессий и выполнителей европеизированных реформами функций бюрократической машины и кончающийся высшими категориями квалифицированного наемного труда. Развал «дворянских гнезд» и общий сдвиг, происшедший в жизни провинциального чиновничества, мещанства и духовенства, выбросили в столицы и крупные губернские города десятки тысяч молодежи, в значительной части поглощенной высшими и специальными учебными заведениями. Между учащейся молодежью, корпорациями представителей свободных профессий и литературными и журналистскими кружками размещалась главная масса интеллигенции, снизу примыкая к пролетарской, по условиям существования, среде не дипломированных и лишенных прочной профессии «разночинцев», а сверху подходя вплотную к наиболее демократической и европейской части землевладельцев и чиновников, через посредство которой интеллигенция пореформенного времени непосредственно связывалась с интеллигенцией предшествовавшей эпохи. Капиталистическое хозяйство и отчасти реформированный аппарат бюрократии лишь в ничтожной мере могли занять силы этого быстро размножившегося социального слоя. Медленный рост культурности и экономического благосостояния народных масс при длительном политическом застое обусловливал постоянное превышение предложения интеллигентных сил над спросом на них и создавал для значительных кругов интеллигенции, хроническую безработицу. Интеллигентские массы, и особенно наиболее демократическая по происхождению часть их, испытывали острую нужду и составляли действительный интеллигентный пролетариат. Но новые социальные условия не только не могли занять интеллигентские массы экономически и тем привязать их положительными узами к «хозяевам жизни» пореформенного общества, Эти социальные условия сложились так, чтобы массы разночинной интеллигенции оставить свободными от оков узко-классовой культуры и от политической и идеологической связи с крупными и влиятельными общественными классами. Старая дворянско-чиновничья культура быстро сходила на нет вместе с дворянскими гнездами, скомпрометированная своей вековой связью с устоями рабства и азиатчины, в то время как до-нельзя замедленный ход экономического развития не позволял выработаться в культурные силы ни буржуазии в собственном смысле слова, ни мелкому мещанству, ни новому зажиточному крестьянству. И в то же время политический режим, режим окончательно кристаллизовавшегося бюрократиче-

ски-полицейского абсолютизма, по самой природе своей и в силу сословной своей базы, открыто враждебно направлялся против интеллигенции даже в тех случаях, когда, вынужденный собственными интересами и навязчивыми требованиями экономического развития, сам содействовал умножению интеллигенции и утилизировал ее силы. Начиная с средней и высшей школы и кончая службой в земстве, работой в свободных профессиях или в литературной сфере, интеллигент чувствовал себя под постоянным бдительным надзором государственной власти, не имеющим узаконенного места в установленной системе, всесторонне бесправным элементом. Но в то же время, на фоне бьющей в глаза медленности темпа общественного прогресса и отсутствия прочных и влиятельных культурных сил среди признанного государством общества, текучая и разнородная армия интеллигентского пролетариата не могла не чувствовать и не сознавать себя носительницей того культурного процесса, который, ломая устои крепостничества, вводил Россию в семью цивилизованных наций. И более того: такое положение интеллигенции придавало ей подобное значение и в глазах наиболее прогрессивных и рвущихся вперед групп производительных классов. Интеллигентные элементы дворянства, чиновничества, офицерства и буржуазии, как и передовые единицы мещанства и рабочего класса, тяготели своими духовными интересами к разночинной интеллигенции и подпадали под сильное влияние создаваемой ею культуры и идейных традиций.

Такое положение пореформенной интеллигенции, одновременно центральное в сфере духовной культуры и изолированное по отношению к борющимся на поверхности и в подпочве общества социальным, классовым интересам, наложило резкую своеобразную печать на всю идейную и политическую жизнь пореформенной России и на ее литературу в особенности. Оно сделало то, что игра социальных интересов и борьба социальных сил отражались в политической жизни и в литературе, преломляясь через призму особой культурной среды, рассматривавшей себя, как особый, по отношению к остальному обществу, мир, и об'ективно являвшийся таковым в известных отношениях. История общественных и умственных движений первых десятилетий пореформенной эпохи постольку представляется прежде всего историей борьбы русской интеллигенции за свое самоопределение и за свою эмансипацию; и лишь бледно в перипетиях этой истории отражается эволюция остальных классов медленно развивавшейся, но все же не стоявшей на месте, нации.

II.

Народничество.

В ряду идейных факторов, которые в течение всего XIX века оказывали влияние на умонастроение культурных слоев русского общества, значительную роль играли умственная жизнь и социально-политическая борьба в Западной Европе. С этим фактором приходится считаться и по отношению к интересующему нас периоду.

Франко-прусская война 1870 года и восстание Парижской Коммуны закончили исторический процесс, начатый Великой Французской Революцией. Вслед за задачей классовой и духовной эмансипации западно-европейская буржуазия осуществила задачу эмансипации национальной: и тут, как и там, она, поставив определенную задачу во всей ее полноте, решила ее в рамках компромисса, соответствующего ограниченности ее классовых интересов. Карта Европы, радикально преобразовавшаяся несколько раз, приобретала очертания, которым суждено было оставаться неизменными в течение долгого времени. Консолидация капиталистических наций закончилась: были созданы территориальные и международно-правовые рамки, в которых капитализм мог беспрепятственно развиваться.

Последняя фаза этого долгого процесса, протекавшая под знаком соперничества французского империализма и прусского милитаризма, внесла чрезвычайное оживление в политическую и умственную жизнь буржуазного общества этих стран, а косвенно и остальной Европы. Но буржуазное общество, в котором капиталистические отношения производства к тому времени достигли значительного развития, уже не могло зашевелиться без того, чтобы не привести немедленно в движение скрытые в нем самом противоречия. Оживление буржуазного либерализма и радикализма сопровождалось возрождением рабочего движения, разгромленного в 1848 г. и теперь с удесятеренной силой заявившего о своем существовании. Лассалевская агитация и образование Интернационала стали крупнейшими событиями в политической жизни 60-х годов, наложившими печать своего влияния, между прочим, на всю эволюцию буржуазной демократии. Ее выдающиеся представители пошли в большей или меньшей степени навстречу либо революционному социализму в его бланкистской или бакунистской интерпретации, либо практическому рабочему движению в его преобладавшей в течение 60-х г.г. кооперативной форме. Получившаяся в ре-

зультате такого сближения амальгама мелкобуржуазного социализма с ярко-демократической окраской оказывала преобладающее влияние и на идеологию левых элементов русской интеллигенции в 60-ые годы. И то же сближение мелкобуржуазной демократии с социализмом в социально-политической сфере способствовало тому, что коллективистские и коммунистические симпатии русской интеллигенции могли психологически сочетаться с тяготением к философии тогдашнего западно европейского буржуазно-индивидуалистического радикализма. Материалистические и позитивистские разновидности этой философии, в которой буржуазная личность давала последний бой за свое освобождение, вполне отвечали запросам русской интеллигенции, переживавшей разгар борьбы с крепостническими узами и крепостническими традициями; а гуманитарная и социал-реформаторская окраска *этого* философского индивидуализма мирила социал-народнически настроенную интеллигенцию с классовой узостью и ограниченностью ее общего кругозора.

Трагедия Коммуны и торжество политики «крови и железа» положили конец новому расцвету буржуазной демократии. Рассеялся мираж международной гармонии и торжества демократии и вскрылось реальное содержание последних движений, завершивших дело великой революции: оказалось, что национально-освободительные их лозунги прикрывали собою прозаические запросы капиталистической эксплоатации. С другой стороны, из-за невинно-мещанской оболочки кооператорского социализма выглянул подлинный лик неприкрашенной классовой борьбы. Радикальный республиканизм и демократическое свободомыслие были поставлены перед необходимостью сделать решительный выбор между противостоящими в открытой гражданской войне миром труда и миром капитала. И они сделали свой выбор — в пользу капитала. Те, которые пытались нести в стан победителей слово мира — Гарибальди, Виктор Гюго — были освистаны, их политическая роль была закончена. И в то время, как английские демократы и свободные мыслители спешно покидали ряды Интернационала, а недавно еще чтимые повсюду польские эмигранты встречали всеобщую холодность к своему делу, в то время, как Дон-Кихоты революционной буржуазной демократии оплакивали последнее крушение своих иллюзий, — ее Санхо-Пансы ликвидировали свою связь с революцией и, в лице Гамбетт и Криспи, становились в первые ряды бардов и трубадуров торжествовавшего победу капитала.

В развитии философской мысли обнаружились попятные движения—к идеализму и метафизике. Естественные науки,

недавно еще непосредственно служившие цели борьбы за эмансипацию личности, теперь выступали в роли боевого орудия против эгалитарных стремлений. В частности, дарвинизм, революционизировавший естествознание, явился опорой консервативно-буржуазных течений в социальной науке, как и в политике.

Радикально-индивидуалистическая струя в идейном движении шестидесятников тем самым лишилась одного из источников, ее питавших. Но и вся обстановка русской жизни вела к иссякновению этой струи. Радикальный индивидуализм уже не мог покрывать собою ту борьбу интеллигенции с окружающей средой, которая продолжала вестись в течение 70-х годов. С наступлением открытой политической реакции врагом «личности» интеллигента выступила уже не одна окружавшая его косная среда обывательского «мещанства», как могло представляться в первую половину 60-х годов, но целый социально-политический строй, притом строй, который, между прочим, опирался на буржуа с его куцым, но резко выпяченным вперед индивидуализмом. Естественные науки, санкционировавшие в первой половине 60-х годов революционные стремления демократа-разночинца, впоследствии были использованы, по примеру Зап. Европы, умеренными и аккуратными представителями буржуазно-либерального индивидуализма (Стронин, П. Лилиенфельд). В то же время крушение надежд шестидесятых годов заставило разночинца признать ограниченность пределов его влияния на складывающееся пореформенное общество, с началом реакции отвернувшееся от интеллигентской демократии. Но, вместе с тем, то же крушение показало слабосилие интеллигенции самой по себе, и это обстоятельство, ослабляя влияние в интеллигенции радикально-индивидуалистических течений, ставивших в центре общественного прогресса просвещенную личность интеллигента, должно было соответственно усилить влияние течений народнически-демократических, искавших для интеллигенции опоры в крестьянстве.

К концу 60-х годов «писаревская» группа шестидесятников лишается своего преимущественного влияния на интеллигентские круги в пользу группы наследников «Современника». В течение 70-х годов «писаревцы», хотя и владеют очень распространенным в провинции журналом «Дело», но фактически обречены играть вторую скрипку в радикальной журналистике. Всякий раз, когда они пытаются взять свою особую ноту, несогласную с мотивами «Отечественных Записок», они терпят поражение. Главная публицистическая сила «Дела», Н. В. Шелгунов, в общем и целом идет в ногу с публицистами «Отечественных Запи-

сок». Наиболее непокорный из всех П. Н. Ткачев остается до конца десятилетия изолированным от влияния на широкие круги публики, хотя индивидуалистические тенденции в его политических писаниях (в нелегальной прессе), выразившиеся в пропаганде заговора, захвата власти и террора, оказывали незаметное пока влияние на революционеров и в известной мере подготовляли их последующий поворот к терроризму.

По мере того, как укреплялась политическая реакция, рядом с центрами идейного влияния на интеллигенцию, вновь образовавшимися в самой России, начинают приобретать все большое значение такие же центры заграницей, среди русской *эмиграции*. В течение эпохи «великих реформ» идейное влияние эмиграции значительно уступало влиянию русских литературных центров, особенно, если иметь в виду влияние на широкую демократическую интеллигенцию. «Властителями дум» последней были Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Влияние Герцена и Огарева, представителей эмиграции дореформенной эпохи, было значительно до польского восстания в кругах просвещенных помещиков и либеральной бюрократии. Крушение движения 60-х годов выбросило в Западную Европу новые группы русской эмиграции, прошедшей через революционные кружки «Земли и Воли»[1]), через агитацию «каракозовцев» (1866) и «нечаевцев» (1869). В то же время великая встряска 60-х г.г. вызвала впервые, как массовое явление, временные путешествия заграницу демократических элементов (напомним, что при Николае I поездки заграницу были крайне затруднены). При этом стеснения, которые правительство ставило в России образованию женщин, повели к тому, что в заграничные (преимущественно швейцарские) университеты направилась женская учащаяся молодежь.

Образование сравнительно многочисленных русских «колоний» заграницей облегчило непосредственное влияние на русскую интеллигенцию со стороны политической эмиграции и содействовало более близкому знакомству интеллигенции с передовыми направлениями европейского общественного движения, которые после Коммуны сводились только к социализму и анархизму, враждебно боровшимся в Интернационале. Несоответствие общественно-политических запросов, пробужденных эпохой реформ, с правовыми нормами, продолжавшими господствовать в России и крайне стеснявшими в ней развитие политической мысли, заставляло пе-

[1]) „Земля и Воля“ 60-х г.г. не стояла ни в какой связи с позднейшей (1876—79 г.г.) организацией того же имени.

редовую часть русской демократической интеллигенции внимательно прислушиваться к голосу лидеров русской эмиграции.

Представитель старой эмиграции, протянувший, в отличие от Герцена и Огарева, руку молодому революционному поколению и приобревший себе мировое имя своей деятельностью в Западной Европе, М. А. Бакунин, оказал самое глубокое влияние на формировавшуюся идеологию «поколения 70-х г.г.»

Это влияние, затем, умерялось влиянием позднее эмигрировавших писателей, особенно П. Л. Лаврова, гораздо менее П. Н. Ткачева [1]). В самой России эти влияняи скрещивались с влиянием легальной журналистики, преимущественно кружка «Отечественных Записок». Но, опираясь на эмиграцию, интеллигент-читатель уже не представлял собою пассивного об'екта воздействия со стороны сдавленной цензурным прессом журналистики. Общественное мнение радикальных читательских кругов само заставляло эту журналистику считаться с собою и влияло на ее линию. В течение всего десятилетия ясно виден этот процесс взаимоприспособления легальной радикальной журналистики и политически оформленной интеллигентской среды, впереди которой, частью, как вождь, частью, как непосредственный выразитель ее настроений, идет эмигрантская литература. Позднее, к концу десятилетия, когда эта литература начинает уступать влиянию печати, созданной подпольными станками в самой России, между этой писательской средой и легальной журналистикой установилось еще больше точек соприкосновения на основе общего политического настроения.

Гегельянец и консерватор в начале 40-х годов, Бакунин заграницей подпал под влияние Прудона, Маркса и других революционных деятелей того времени. В событиях 1848 г. он принимает самое активное участие, но взгляды его к этому времени еще далеко не сложились в сколько-нибудь определенную систему. Письма его, относящиеся ко времени пребывания его в Сибири, изданные Драгомановым, обнаруживают в нем еще в это время человека далеко не крайних воззрений, готового искренно увлекаться либерализмом тогдашнего правительства, готового признать «нашим человеком» таких представителей бюрократии, как упомянутый Муравьев и известный впоследствии гр. Н. П. Игнатьев.

Уже после того, как он снова бежал заграницу и примкнул к Герцену, издававшему «Колокол», Бакунин в своей

---

[1]) Влияние эмигрировавшего в 1875 г. Драгоманова было вообще ничтожно (если не иметь в виду его украинской деятельности).

брошюре «Романов, Пугачев или Пестель» занимает по отношению к крестьянскому вопросу позицию, далекую от непримиримости: он готов поддержать монархию, если последняя пойдет навстречу желаниям освобождаемых крестьян, и тем поведет Россию в сторону от европейского капитализма к торжеству общинного начала.

Но вскоре уже оборот, принятый крестьянской реформой, бросает Бакунина на крайнее крыло русской эмиграции и в значительной мере под его влиянием совершается последующее «левение» «Колокола» и, в частности, безоговорочно-революционная позиция, занятая последним по отношению к польскому восстанию.

После поражения Польши М. А. Бакунин вновь окунается в революционное движение Запада. Первоначально и здесь он отыскивает родственные ему движения среди интеллигентских элементов буржуазной демократии, пытается привлечь на сторону всемирной революции буржуазно-свободомыслящую и республиканскую «Лигу мира и свободы». Безнадежность этого предприятия скоро выясняется, и мятежный русский революционер находит для себя поприще в начинающем громко заявлять о своем существовании Международном обществе рабочих.

После долгих попыток приспособиться к общему направлению, в котором велась этим обществом его агитационная и организационная деятельность, Бакунин к концу 60-х г.г. окончательно убеждается в непримиримости своего революционизма со все более торжествующим в Интернационале марксизмом. В борьбе с его политическими тенденциями и в тесном соприкосновении с различными бланкистскими, заговорщическими и прудонистскими элементами, составлявшими в различных (преимущественно романских) секциях Интернационала оппозицию Генеральному Совету, — Бакунин окончательно отшлифовывает свое революционное мировоззрение, становясь, таким образом, идейным учителем всего анархистского движения второй половины прошлого века.

Бакунин признавал научную ценность того анализа капиталистического процесса производства, который сделал Карл Маркс; признавал основой современной социальной организации присвоение прибавочной стоимости классом частных собственников и вывод об «экспроприации экспроприаторов» и организации коллективного владения средствами производства, как сущности грядущего социального переворота. Но здесь кончалось его согласие с Марксом.

Подобно Прудону, Бакунин резко противопоставляет социальную, экономическую организацию общества его поли-

тической организации. Первая, являясь выражением естественной связи между людьми, ведет к равенству и справедливости (у Бакунина — к коллективизму); вторая, будучи основана на насилии, является основной причиной существования социального неравенства. *Уничтожение* политической организации, *разрушение государства* и освобождение от его ига социальной стихии является, таким образом, целью революции. «Живой, конкретно-разумный ход... в мире практическом», говорит Бакунин [1]), заключается в «движении от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованиям самой этой жизни. Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого и потому действительно народный, путь *анархической* социальной революции, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того, чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности».

Борьба за улучшение государственных форм является бесполезной. Задача завоевания государственной власти является поэтому вредной выдумкой. «Между революционной диктатурой и государственной вся разница только во внешней оболочке... они одинаково реакционны» [2]).

Таким образом, борьба за политические реформы и участие в представительных учреждениях отвергаются в корне. Средством борьбы за освобождение Бакунин признает *бунты*, из которых органически должна вырасти анархическая революция. *Субъектом* революционного движения является у него не современный пролетариат, как экономически определенная социальная категория, а лишь низшие слои, более или менее близко стоящие к *люмпенпролетариату*.

Дело, однако, не в экономических условиях существования этого пролетариата. «Нищета самая ужасная, даже когда она порождает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции». «Нужно еще отчаяние». «Даже немец в отчаянии перестает быть резонером». «Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить социальную революцию... Для этого еще необходим общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта... нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право» [3]). Бакунин, таким образом, подходит к идеалисти-

---

[1]) „Государственность и анархия", стр. 162.
[2]) Там же, стр. 167.
[3]) Там же, стр. 36.

ческому обоснованию своей философии истории, к исканию основных факторов народной эволюции в *народном духе*. На этом пути он, следуя старым славянофилам, приходит к противопоставлению славянского мира германскому, причем, вопреки славянофилам, сближает романские народы с первым. Но недаром он был затронут влиянием Маркса или, как выразился Плеханов, «софистицирован» экономическим материализмом. От «народного инстинкта» он снова пытается апеллировать к социальному бытию, чтобы в условиях об'ективного исторического развития обоих миров найти ключ к об'яснению различной народной психологии. «Славяне, — говорит он, — были по преимуществу племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена, они были по этому самому чужды тем государственным стремлениям, которые с ранних пор проявлялись в германцах» [1]). «Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб» [2]). «То самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских государств, их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность» [3]). Вот почему не Россия, а Германия «составляет в Европе очаг реакции, которая есть окончательное осуществление противонародной идеи новейшего государства, имеющего единой целью устройство самой широкой эксплоатации народного труда» [4]). Борьба между «государственностью и анархией» есть борьба между немцами и славянами или в конце-концов борьба между современным *городом и деревней*.

Бакунизм именно и явился попыткой сочетать классовое движение современного пролетариата с инородным ему социальным протестом тех слоев крестьянства, которые уничтожал и в конце-концов уничтожил или совершенно преобразил капитализм в XIX веке — уничтожил, главным образом, силами современного буржуазно-бюрократического государства. Процесс этот происходил наиболее остро в 60-х г.г. в Испании и Италии, и в этих именно странах бакунизм стал господствующей формой социального движения, увлекши за собою и низы городского пролетариата и мещанства, и деклассированную, не захваченную еще зубьями буржуазной «государственности», плебейскую интеллигенцию [5]). В сла-

[1]) Там же, стр. 45.
[2]) Там же, стр. 53.
[3]) Там же, стр. 54.
[4]) Там же, стр. 13.
[5]) Участию этой интеллигенции Бакунин придавал громадное значение.

вянских странах развитие капитализма шло тем же путем, выдвигая на первый план пауперизацию крестьян и создание массового люмпенпролетариата, и Бакунин, учитывая эту аналогию, ожидал от славян — и особенно от России — руководящей роли во всемирной анархической революции.

Об'ективные условия развития русского народа, по мнению Бакунина, подготовили его к тому, чтобы он в близком же будущем сыграл эту роль.

Эти об'ективные условия, по Бакунину, раскололи национальный организм русского народа на два противоположных мира: общинное крестьянство, косное, полное предрассудков и отчасти уже раздираемое внутренними противоречиями, но при всем том, способное к дальнейшему развитию, в силу сохранившихся в нем анти-авторитарных, эгалитарных и коллективистских традиций; и чиновнически-помещичью надстройку, являющуюся паразитическим продуктом на народном теле, держащуюся голым насилием и вносящую элементы разложения в крестьянский мир. Этот последний искони ведет борьбу с государством и правящими классами во имя абсолютного торжества общинных начал, во имя разрушения государства; покрываемая мистической монархической традицией, безуспешная, благодаря разрозненности крестьян, эта борьба нуждается только в новом об'единяющем и направляющем подвижном элементе, каким в прежние века являлось казачество, чтобы привести крестьянство к полной победе, на пути к которой его движение перерастет оживившие мистические традиции и придет к анархистскому самосознанию. Революционной интеллигенции предстоит, как тому же казачеству, сыграть лишь роль *выразителей* потребностей и стремлений, заложенных в самом народе и выработанных в нем экономическими условиями, резко отличными от условий, в которых живут народы Запада.

Бакунизм шел навстречу настроению демократической интеллигенции, поскольку отвечал ее потребности круто порвать с буржуазным либерализмом, ставшим на Западе консервативной силой, а в России являвшимся чахлым растением, поскольку, с другой стороны, санкционируя ничтожное значение интеллигенции, как самостоятельной силы, только-что потерпевшей поражение, в то же время указывал ей в полуосвобожденной и явно неудовлетворенной крестьянской массе фактор неминуемого коренного переворота, — фактор, к которому могла примкнуть интеллигенция. Наконец, *аполитический* характер бакунизма как нельзя более соответствовал разочарованию в возможности успешной политической борьбы, в которую верилось в течение первой половины 60-х годов.

Но с самого же начала десятилетия обнаружилась некоторая реакция против бакунизма. Ее наиболее видным выразителем явился П. Л. Лавров.

В течение первой половины 60-х годов Лавров стоял между лагерем Чернышевского и умеренно-либеральными кругами интеллигенции. Правда, социалистические симпатии выражал он уже и тогда, но крайние тенденции философского движения 60-х годов — материализм и сенсуализм — отталкивали его от лагеря «Современника». Лишь позднее — во время своей ссылки в Кадникове (1866—70 г.г.) — он выступает с стройным изложением своих взглядов в «Исторических письмах», которые появились в «Неделе» за 1868 — 1869 годы.

В «Исторических письмах» Лавров выступает прежде всего, как противник того поголовного увлечения естествознанием, которое являлось характерным явлением умственной жизни 60-х годов. «В интересах современной мысли лежит разработка вопросов истории, особенно тех из них, которые теснее связаны с вопросами социологии» [1]). Изучение истории должно дать мыслящему человеку ту руководящую нить в общественной деятельности, которую шестидесятники искали в природе человека.

Однако, приступая к установлению *метода изучения* истории, Лавров сразу же наталкивается на тот же самый вопрос о природе человека, как об'екта и суб'екта исторического процесса. «Для всей группы наук, относящихся к человеку, критерий важнейшего должен прилагаться сообразно характеристическим особенностям человека, особенности же эти неизбежно определяются по его *суб'ективной* оценке, потому что исследователь сам — человек и не может ни на мгновение выделиться из процессов, для него характеристичных» [2]). Характерны для человека явления *сознания*, свободной постановки целей, «влечение перестроить мыслимый мир по требованиям истины, реальный мир по требованиям справедливости».

«Может быть (и даже вероятно)», — говорит Лавров, «в общем строе мира явление сознания есть весьма второстепенное явление; но *для человека* оно имеет столь преобладающую важность, что он всегда будет прежде всего делить действия свои и подобных себе на действия *сознательные и бессознательные* и будет относиться различно к этим двум группам» [3]). «Научное исследование убеждает человека,

---

[1]) „Исторические письма", стр. 10.
[2]) Там же, стр. 24.
[3]) Там же, стр. 24.

что и эта группа (группа потребностей, представляющихся «свободным и самостоятельным продуктом сознания личности») развивается в нем не свободно и не самостоятельно, но под сложными влияниями окружающей среды и особенностей его личного развития; однако, убеждаясь в этом *об'ективно*, он все-таки никогда не может устранить суб'ективной иллюзии, которая существует в его сознании и устанавливает для него громадное различие между деятельностью, для которой он сам ставит себе цель и выбирает средства, критически разбирая достоинство цели и средств, и деятельностью механической, бесстрастной, привычной, где он сознает себя орудием чего-то, извне данного».

Из этого *дуалистического* представления о соотношении между бытием и сознанием Лавров легко выводит определение исторической законосообразности. «Закон хода исторических событий оказывается с этой точки зрения определенным предметом исследования: надо уловить в каждую эпоху те цели, умственные и нравственные, которые были в эту эпоху сознаны наиболее развитыми личностями, как высшие цели, как истина и нравственный идеал; надо открыть условия, вызвавшие это миросозерцание, критический и не критический процесс мысли, его выработавший, и его последовательное видоизменение; надо группировать различные миросозерцания, таким образом возникавшие, в их исторической и логической последовательности; надо расположить около них, как причины и следствия, как пособия и противодействия, как примеры и исключения, все прочие события человеческой истории. Тогда из пестрого калейдоскопа событий исследователь неизбежно переходит к закону исторической последовательности».

При таком взгляде на характер закономерности исторического процесса Лавров должен был неизбежно во главу угла своей историософии положить принцип: «сознательно или бессознательно, человек прилагает ко всей истории человечества ту нравственную выработку, которой он сам достиг». «Волей-неволей приходится прилагать к процессу истории суб'ективную оценку, т.-е. усвоив, по степени своего нравственного развития, тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу, и на первый план истории выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие выразилось с наибольшей яркостью... При этой точке зрения все явления обособляются, как благодетельные или вредные, как нравственное добро или зло... Мы — с нашим нравственным идеалом, определяющим перспективу процесса истории —

становимся в конец этого процесса; все предыдущее становится к нашему идеалу в отношение подготовительных ступеней, ведущих неизбежно к определенной цели. Следовательно, история представляется нам борьбою благодетельного и вредного начала, где благодетельное, в неизменном виде или в постепенном развитии, достигло, наконец, той точки, в которой оно есть для нас высшее благо человечества».

Гносеологически все эти положения опираются у Лаврова на последовательное отрицание об'ективных критериев истины. «Пора бы людям мыслящим усвоить себе очень простую вещь: что различия важного и неважного, благодетельного и вредного, хорошего и дурного, суть различия, существующие лишь *для человека*, а вовсе чуждые природе и вещам самим по себе... Наука с ее общими законами явлений присуща лишь человеку, а вне человека существуют *только* одновременные и последовательные сцепления фактов, столь мелких и дробных, что едва ли человек может их и уловить во всей их мелкости и дробности» [1]). Поэтому, *прогресс* истории есть понятие чисто суб'ективное, вносимое самим исследователем в хаос фактической истории и делающее его, так сказать, творцом исторической разумности. Лавров предвидит вопрос о гарантиях победы «благодетельного начала» над началом злым. «Не то, чтобы благодетельное начало должно было непременно фактически восторжествовать. Не то, чтобы всякий последующий период представлял неизменно приближение к нашему нравственному идалу» [2]). Это неважно, ибо даже если историк и отрекся от всякой возможности реализации лучшего, то его идеал остается высшим внутренним убеждением, выработанным историею в мысли человека, и опять-таки все минувшее, как важное, так и неважное, располагается пред его взором, как подготовка этого нравственного убеждения, неосуществленного, неосуществимого и в реальном будущем, но *осуществленного в области человеческого развития* [3]). Это «приближение исторических фактов к реальному или идеальному лучшему, нами сознанному, это развитие нашего нравственного идеала в минувшей жизни человечества составляет для каждого *единственный* смысл истории, единственный *закон* исторической группировки событий, закон *прогресса*, считаем ли мы этот прогресс фактически непрерывным или подверженным колебаниям, верим ли мы в его реальное осуществление или только в его существование в нашем сознании» [4]).

---

[1]) Там же, стр. 27, 28, 29, 30.
[2]) Там же, стр, 30.
[3]) Курсив наш.
[4]) Там же, стр. 30—31.

Таким образом, общественный идеал переносится целиком в область *утопии*, становится лишь «регулятивным принципом» человеческой деятельности; процесс действительной человеческой истории оценивается с точки зрения противопоставленного ему сознания передовой личности, а содержание этого сознания мыслится, как независимое от самого исторического процесса.

Но если к истории приложим лишь *суб'ективный метод* исследования, то нравственный идеал, которым исследователь должен пользоваться при применении этого метода, может и должен, по Лаврову, быть обоснован *научно*. «Вовсе нет причины считать невозможным приложение строго-научного мышления и к областям, где теперь господствует столь же беспорядочный хаос мнений, какой в древности господствовал в основных частях естествознания» [1]). При отрицании об'ективных законов исторического развития такое научное обоснование нравственного идеала может быть только *антропологическим*. *Развитие личности* — к этому сводится основной критерий исторического процесса. «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости — вот краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом» [2]), говорит Лавров, считая «понятия, входящие в эту формулу..., вполне определенными и недопускающими различных толкований для всякого, кто к ним добросовестно относится».

Эта абстрактная формула прогресса выражала не что иное, как *оценку* русским демократом-интеллигентом положительных целей социалистического рабочего движения на Западе, присоединение русского демократа к стремлениям европейского пролетариата.

Если такова формула действительного прогресса, то силой, двигающей прогресс, является, по Лаврову, *критически-мыслящая личность*. «Как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически-мыслящих личностях» [3]). Критически-мыслящей является личность, освободившая себя работой мысли от пассивного подчинения культуре своего времени, возвысившаяся над современным ей обществом; короче, это есть идеализированный русский интеллигент-демократ эпохи крутого разрыва интеллигенции с барско-чиновничьей общественной средой. «Для того, чтобы эта маленькая группа

---

[1]) Там же, стр. 40.
[2]) Там же, стр. 41—42.
[3]) Там же, стр. 78.

(группа людей, сознательно стремящихся к развитию в себе человеческого достоинства и т. д.) могла образоваться, необходимо было, чтобы среди большинства, борющегося ежечасно за свое существование, оказалось меньшинство, обеспеченное от самых тяжких забот жизни» [1]).

Об'единение «критически-мыслящих личностей» в *партию* и борьба революционной партии с общественным строем, препятствующим развитию личности и торжеству справедливости, таков рычаг прогресса в истории. Вся книга Лаврова и является призывом к русской демократической интеллигенции образовать партию и повести систематическую борьбу с историческим строем во имя социализма.

На первый взгляд мы имеем дело с логическим развитием писаревского интеллектуализма. У Писарева также критическая мысль ставит личность над исторической средой, тем самым делая ее творцом идеального будущего. Но резкий индивидуализм, характеризующий взгляды Писарева, у Лаврова, более знакомого с европейским социалистическим движением и симпатизировавшего ему, смягчен гуманитарной этикой, освобожденной от эвдемонистического базиса, на котором строилась этика Писарева и Чернышевского. Критическая работа мысли приводит личность к пониманию того зла, которым куплена ее привилегия двигать прогресс человечества и которое заключается в угнетении и эксплоатации народных масс. Критически-мыслящая личность становится поборницей интересов этих масс и, внося в их сознание критическую мысль, тем самым приобщает их к историческому творчеству. Так личность уплачивает свой исторический долг народу, за счет страданий которого она возвысилась до критической мысли. В зародыше элементы этого мировоззрения можно найти и у Писарева, и у Чернышевского и Добролюбова. Но метафизический натурализм Писарева и цельность философского мировоззрения Чернышевского, как ученика Фейербаха, не позволили этим элементам сложиться в систему, способную одновременно ответить потребности интеллигенции в *идеализации своего собственного положения* в пореформенной России и связать ее эмансипационные стремления с демократическим самоограничением в пользу активности народных масс. Если личность у Писарева является «аристократом духа», менее всего склонным искать санкции своих стремлений в чувствах и идеях косной массы, то Чернышевскому его материализм, остановившийся как раз перед вопросами истории, но временами врывавшийся и в их об'яснение, не позволял всецело

[1]) Там же, стр. 62.

заражаться рационалистической верой в силу интеллигентской мысли вырвать народные массы из-под законов исторического развития. Нужен был эклектизм, характеризовавший собою мировоззрение П. Л. Лаврова, чтобы суметь обойти коренное противоречие между европейскими стремлениями пореформенной интеллигентской демократии и отсутствием в экономической действительности элементов для образования исторически-прогрессивной народной демократии. Только значительный философский шаг назад от Фейербаха к видоизмененному Бруно Бауэру, от философского материализма к позитивизму и критицизму мог отодвинуть теоретическую мысль этой эпохи от неразрешимых вопросов, к которым она подошла вплотную в 60-ые годы. Если, поэтому, бакунизм, с фанатической ослепленностью закрывавший глаза на эти противоречия и догматически противопоставлявший им веру в историческую миссию русского народа, плохо прикрытую вульгаризованным экономическим материализмом и почти не скрывавшую своей генетической связи с славянофильским мессианизмом, мог непосредственно увлечь за собой лишь самые крайние группы интеллигенции, уже подготовленные к восприятию этих идей тайными обществами 60-х годов, то для значительно более широких кругов демократической интеллигенции начала следующего десятилетия, для молодежи и не совершенно «отщепившихся» от «общества» слоев ее гораздо более по плечу пришлась идеология «Исторических писем», подхватывавшая нить «просветительства» 60-х годов и вносившая в него более резкую демократическую и социально-революционную ноту.

То, что начал П. Л. Лавров, продолжил Н. К. Михайловский. У Лаврова критически-мыслящая личность творит суд над историей и, воздействуя идейно на массы, делает их исполнителем вынесенного ею приговора. В лице Михайловского критически-мыслящая личность интеллигента в самом начале 70-х г.г. провела этот судебный процесс. Критерием прогрессивности явлений исторического развития она установила свою собственную эмансипацию, обогащение своего собственного содержания. Целостная личность, к которой апеллирует Михайловский и приближением к которой он измеряет прогресс общества, есть не что иное, как идеализированное изображение разночинца-интеллигента, который в мало дифференцированном русском пореформенном обществе не успел стать «пальцем от ноги» общественного организма, не вылился еще в устойчивые категории выполнителей технических, политических и идеологических функций господствующих классов и продолжает еще оста-

ваться единственным общественным элементом, воплощающим в себе «разум» нации, ее умственную жизнь.

Как и Лавров, Михайловский является решительным сторонником социологического *суб'ективизма*. «Самое слово «прогресс», — замечает он [1]), — имеет смысл только по отношению к человеку». Но этот суб'ективизм пытается у Михайловского найти для себя более твердую опору в некоторых об'ективных законах социологии: Михайловский принимает ряд социологических обобщений Спенсера и других представителей «органической» школы (напр., «общество.... развивается, подобно организму, переходя от однородного к разнородному, от простого к сложному, постепенно расчленяясь и дифференцируясь») и сам устанавливает, что содержанием истории человечества является «смена форм кооперации». В своей статье «Формула прогресса г. Михайловского» [2]) Лавров критиковал эту тенденцию Михайловского сочетать суб'ективный метод с признанием об'ективных истин в социологии. Права суб'ективизма, по Михайловскому, начинаются с момента *нравственной оценки* совершавшихся до сих пор социологических процессов и *выбора* тех их тенденций, которые подлежат поддержке со стороны личности. «Что общество повинуется в своем развитии известным законам, это несомненно, но не менее несомненно присущее человеку *сознание свободного выбора деятельности* (курс. подлинника, «Из литерат. и журнальн. заметок 1872 г.», 1, 777). В момент деятельности я сознаю, что «ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий: пусть это обман, но им движется история» [3]). Из рамок этого кантовского противопоставления сущего и должного Михайловский никогда не выходит. «Социология должна начать с некоторой утопии».

Процесс развития общества противоречив, заключая в себе прямо противоположные тенденции. С одной стороны, развитие и совершенствование самого общества имманентно стремится сделать живую личность «пальцем от ноги общественного организма»; с другой стороны, живая личность борется за свое собственное развитие, за свою цельность. Рядом с формами кооперации, наиболее полно выражающими это поглощение личности обществом, создаются формы кооперации, в принципе разрешающие задачу гармонического сочетания интересов личности и интересов общества. Руководящим критерием при установлении оценки историче-

[1]) Собр. сочин., I, стр. 32.
[2]) „Отеч. Зап." 1870 г.
[3]) Собрание сочинений, III, 437.

ских процессов Михайловский признает интересы живой личности. «Все здание правды должно быть построено на личности» [1]). Он доказывает, что все системы буржуазного индивидуализма, формально признающего этот принцип, на деле жертвуют интересами личности интересам «системы наибольшего производства» [2]). Поэтому, «прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов» [3]).

Из индивидуалистических предпосылок своего «здания Правды» Михайловский делает социально-народнические заключения. «Если отвлечь от личности такой ее атрибут, такое свойство, которое ей было бы присуще, именно, как личности и не зависело бы ни от каких случайностей» [4]), то таким общечеловеческим свойством, выражением сущности человека, окажется *труд*. «Тогда интересы личности, оказавшиеся на оселке практики двусмысленными и даже многосмысленными, заменятся *интересами труда*, а при дальнейшем отвлечении интересы труда превращаются в интересы народа». В этом примирении индивидуалистических тенденций интеллигентного мышления с народническими симпатиями интеллигенции заключалась наиболее характерная особенность Михайловского среди других теоретических вождей поколения 70-х годов.

Но, как и у Лаврова, интеллигентская личность у Михайловского не замыкается в круг противопоставлений между собою и общественной средой. В этой последней она отыскивает элементы, представляющие в неразвитом виде основные черты, которые характеризуют ее самое. В отличие от Лаврова, имеющего дело с абстракцией трудящейся массы, Михайловский, идя навстречу Бакунину, именно в русском крестьянине, как самостоятельном мелком хозяине и члене земельной общины, усматривает хозяйственный тип, приближающийся к идеалу целостной личности. Задачей русской интеллигенции является осуществить победу представленного общинным крестьянством «типа развития» над разлагающими его элементами буржуазно-капиталистического строя.

---

[1]) Собрание сочинений, IV, 461.
[2]) Собрание сочинений, I, 445.
[3]) Собрание сочинений, I, 150.
[4]) Собрание сочинений, VI, 491.

Михайловский в еще меньшей степени, чем Лавров, апеллировал к самодеятельности самих народных масс. Более знакомый с европейским социализмом и с 1870 года, тесно связанный с его вождями, П. Л. Лавров при всем просветительском рационализме, окрашивавшем его воззрения, основной источник той революционной силы, которой он наделял критически-мыслящих идеологов, видел в конце-концов в реальном факторе мировой борьбы труда с капиталом. Хотя и подчеркивая положительные, с его точки зрения, свойства русской общины, он чаемое движение крестьянства рассматривал сквозь призму социалистического движения европейского пролетариата, как особую разновидность этого мирового движения. Соответственно этому он не игнорировал и движения пролетариата в самой России, а задачу передовой интеллигенции, сознавшей долг перед народом, усматривал в пропагандистском воздействии на народ. Михайловский, сходясь с Бакуниным в идеализации общинного уклада, не обольщался его иллюзиями относительно живучести бунтовских традиций в общине и, будучи свободен от определенной связи с европейским революционным социализмом, гораздо более Лаврова склонен был брать за исходный пункт дальнейшего движения ту благожелательную и вовсе не демократическую опеку «интеллигенции» над «народом», которая формально не отличалась от отношения умеренных либералов к последнему и лишь заполнялась народническим содержанием в виде признания в крестьянине носителя «высшего типа развития». Отсюда, с одной стороны, вытекало дружественное отношение Михайловского к умеренному культурническому и либеральному народничеству, явно пропитанному самыми скромными мелкобуржуазными идеалами и выполнявшему «долг перед народом» поощрением мелкого производства, развитием артелей и т. п. паллиативами, которые не затрагивали общего характера социального развития страны. Отсюда, с другой стороны, отсутствие революционного отношения к правящим классам и правительству, поскольку последние, стоя одной ногой на базе дореформенных отношений, не всегда выступали в роли прямых разрушителей высшего типа развития».

Ни Лавров, ни тем паче Бакунин не сказали бы, подобно Михайловскому [1]): «Требуется предотвратить язву пролетариата, свирепствующую в Европе и угрожающую в будущем России. *Извлечение этой язвы мне всегда казалось такой тяжелой задачей, которая, по крайней мере, моему уму не по силам.* Но в то же время я убедился, что предупреждение ее возможно, если только меры будут приняты во-время».

[1] См. Сочинения, изд. „Русского Бог.", том I, стр. 655.

И Лавров, и Бакунин допускали, что предупреждение появления пролетариата в России еще возможно, и могли бы принять формулу Михайловского [1]): «в основание всех прений о русском рабочем вопросе... должен был бы лечь общеизвестный факт, что у нас рабочие не составляют отдельного рабочего сословия», но они отнюдь не проявляли скептицизма к «излечению» «язвы пролетариата» в странах Зап. Европы: оба недаром входили в Интернационал. Слова Михайловского о том, что «освобождение крестьян с землею сделало Россию в социальном отношении tabula rasa, на которой еще открыта возможность написать ту или другую страницу» [2]), Бакунин и Лавров могли бы принять лишь с известной оговоркой: после критики, произведенной Чернышевским над условиями «освобождения», и попыток революционеров 60-х г.г. путем «критики оружием» добиться замены «господской воли» «подлинной волей», было для демократа значительным шагом назад допускать подобную идеализацию «освобождения». Но уже полным отказом от революционного демократизма явилось знаменитое утверждение Михайловского [3]): «Рабочий вопрос в Европе есть вопрос революционный, ибо он требует *передачи* условий труда в руки работников, экспроприации теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только *сохранение* условий труда в руках работника, гарантии теперешним собственникам их собственности... Понятно, что цель эта не может быть достигнута без широкого государственного вмешательства, первым актом которого должно быть законодательное закрепление общины». Для Бакунина и Лаврова подобный отказ от экспроприации помещичьей собственности и апелляция к государственному вмешательству в катедер-социалистическом смысле были, разумеется, неприемлемы: от иллюзий такого рода, которыми и он соблазнился во время выпуска знаменитой своей брошюры («Романов, Пугачев или Пестель»), Бакунин, ставши «апостолом всемирного разрушения», как его называл Э. Лавелэ, давно уже отказался. Противопоставление русского «рабочего вопроса» западноевропейскому делалось и им, но отнюдь не в смысле специфической «консервативности» рабочего вопроса в России. И, несомненно, Михайловский имел в виду читателей, затронутых влиянием Бакунина и Лаврова, когда, вскоре после только-что цитированных строк, возвращаясь вновь к этому вопросу, пояснял [4]): «Коренные начала русской экономиче-

[1]) Там же, стр. 695.
[2]) Там же, стр. 654.
[3]) Там же, стр. 703.
[4]) Там же, стр. 736.

ской жизни не требуют революции, изменения направления своего течения. Требуется только развитие этих начал. *Будут ли при этом баррикады или нет, это все равно*, т.-е. в том смысле все равно, что они не изменят консервативного характера русского рабочего вопроса.

Все приведенные цитаты относятся к 1872 году, когда революционная волна 60-х г.г. окончательно разбилась, а новое движение еще не оформилось. В этот и ближайшие годы Михайловский и весь кружок «Отечественных Записок» [1]) ведут идейную борьбу, главным образом, с экономическим либерализмом и связанными с последним политическими течениями.

В полемике с Достоевским (по поводу «Бесов») Михайловский советует обратить внимание на «беса национального богатства», самого опасного беса, вселившегося в тело России. Об'ектом воздействия «Отеч. Записок» служит, главным образом, не революционно и «отщепенски» настроенная среда, шедшая уже в это время «в народ» — хотя Михайловский подчас в пламенных строках пытается формулировать психологию этого революционного отщепенства, — но вся масса прогрессивно-настроенной интеллигенции. Народничество «Отеч. Записок» ведет борьбу с индивидуалистическим либерализмом за влияние на эту интеллигенцию и достигает заметных успехов в этой борьбе.

Ему удается дискредитировать экономический индивидуализм настолько, что и умеренно-либеральная журналистика вынуждена делать значительные уступки в духе катедер-социалистического реформаторства. Либерализм все более склоняется к поддержке общины, к поощрению мелкой «народной» промышленности и кооперации.

Находившиеся под непосредственным влиянием пропаганды Лаврова и Бакунина круги интеллигентской молодежи, двинувшиеся в «народ», пропитаны были иными настроениями. Не от разрыва прогрессивной части общества с «бесом национального богатства», а от возбуждения вспышки векового сословного антагонизма между крестьянством и «барством» и от прямого революционного воздействия своего на крестьянство ждали они осуществления народнических идеалов. На первых порах влияние Лаврова имело значительное преобладание над идеями Бакунина. Первые революционные кружки начала 70-х г.г. (Чайковского, Волховского и др.), склоняясь в теории к антигосударственному анархизму Бакунина, на практике вели свою работу в духе Лаврова; предпринятая ими систематическая пропаганда социально-революционных идей в крестьянстве и среди рабочих должна была

[1]) Особенно Щедрин и Г. Успенский.

создать в будущем обширную народную партию, способную поднять общее восстание.

Однако, по мере того, как *исход* интеллигенции «в народ» принимал все более массовый характер и вызывал в ней энтузиазм, первоначальный взгляд на дело значительно изменялся. Несомненно, что быстро последовавшие правительственные репрессии сыграли здесь свою роль, поскольку показали затруднительность ведения таких, сравнительно централизованных и рассчитанных на долгую систематическую пропаганду предприятий, каким, напр., было предприятие кружка «чайковцев», организовавших чтение лекций в рабочих кварталах Петербурга, большое книжное издательство и распространение литературы по провинции. Более существенное значение, однако, имел самый факт массового увлечения интеллигенции «хождением в народ», вызывавший в ней представление о громадности сил, какими располагает революция. Настроению этой массы, зачастую весьма поверхностно ознакомившейся с программными вопросами, гораздо более соответствовало бакунистское бунтарство, чем лавровский, несколько доктринерский, «пропагандизм». За границей отношения между обоими лагерями сильно обострились и сами направления резко дифференцировались. В то время, как «лавристы» подчеркивали необходимость длительной пропаганды, для чего требовали серьезной научной подготовки пропагандистов и серьезной организации, бакунисты, исходя из полной готовности народа к восстанию, отвергали прочную организацию и необходимость приобретения каких-либо серьезных знаний для революционеров, роль которых сводилась к летучей агитации, возбуждению местных бунтов и действию на массы собственным примером. В борьбе против «пропагандизма» сторону бакунистов принял и Ткачев, несмотря на свое коренное расхождение с ними в вопросе о «захвате власти». Между Ткачевым и Лавровым, издававшим газету, а затем сборники под названием «Вперед», возникла полемика по вопросу о значении научной подготовки для революционера: Лавров резко восстал против тенденций к самоопрощению и к упрощению социальной проблемы, которые отличали «якобинцев» (последователей Ткачева) и бакунистов. Националистическая и славянофильская закваска бакунизма и ткачевизма также подверглись его критике. Еще суровее была критика, данная Фридрихом Энгельсом в ответ на открытое письмо к нему Ткачева. Энгельс высмеивал преувеличенные надежды на русскую общину и веру в возможность коммунистической революции в России.

В русской легальной журналистике эта борьба, возникшая в эмиграции, имела также свое отражение. Юзов (Каблиц),

Пругавин, П. Червинский явились выразителями той антирационалистической струи в народничестве, которую в эмигрантской литературе выражал бакунизм. Более резкое, чем у писателей «Отечеств. Записок», противопоставление «города» и «деревни», т.-е. индивидуалистического склада буржуазной цивилизации и коммунистических тенденций общины; идеализация раскола и сектантства, как высших проявлений самобытного революционизма крестьянства; наконец, принципиальное умаление роли «ума» и превознесение значения «чувства» в исторической жизни народов, — таковы были характерные черты этого крайнего народничества, свившего себе гнездо, главным образом, в «Неделе». Вопрос о сравнительной роли «ума» и «чувства» был в одно и то же время вопросом о «пропаганде» или «агитации» и вопросом о значении экономического фактора по сравнению с интеллектуальным. Идеалистический интеллектуализм Лаврова и интеллигентский индивидуализм Михайловского равно отвергались бакунистами и их союзниками в легальной литературе. От интеллигента-народника требовался полный отказ от привилегированной роли в историческом процессе, от всяких претензий вносить что бы то ни было извне в народное море. Он должен был стать простым выразителем затаенных в народе стремлений, не столько учить народ, сколько учиться у него и служить ему лишь, как боевая сила, как былое казачество в прежних крестьянских движениях. В такой программе отщепенская тенденция революционного движения 70-х г.г. находила свое полное выражение: демократическая интеллигенция обрубала последние идейные связи с просвещенной частью имущих классов и, «растворясь в сером сермяжном море», по выражению Н. К. Михайловского, безоговорочно примыкала к сословному движению стоявшего вне «городской цивилизации» крестьянства.

Легко понять, что Михайловский должен был еще решительнее, чем Лавров, восстать против такой идеологии. В ряде статей он бичевал стремление «поставить разум на запятки к чувству» и отстаивал право интеллигенции критически относиться не только к буржуазному прогрессу, но и к мужицкой действительности. Для этого ему пришлось значительно разбавить водой крепкое вино народничества «литературных заметок» 1872 и 1873 годов. В противовес крайним народникам, он вынужден был подчеркивать наличность теневых сторон в действительности русской деревни и ограниченность ее идейных стремлений. В том же духе писали его сотрудники по «Отечеств. Запискам». Щедрин и Успенский подчеркивали отсутствие внутренней гармонии в наличной деревенской действительности, корни, которые пускает в са-

мой деревне проникающий из города капитализм, и ее пассивность и бессилие собственными рессурсами противодействовать его разлагающим влияниям. В скептических нотах очерков Г. Успенского читающая публика улавливала скрытую полемику против той энтузиастической идеализации деревни, которую давал Златовратский.

В этой идейной борьбе Михайловский и «Отечественные Записки» выражали об'ективные тенденции того социального слоя, в пределах которого велась вся борьба, — социального слоя интеллигенции, — но выражали, разумеется, сквозь призму симпатий демократической, плебейской части этого слоя. Бесправный юридически в режиме полицейского абсолютизма, опирающегося на сословные привилегии отживающего класса, этот социальный слой, тем не менее, занимал уже достаточно прочное и незаполнимое место в пореформенном обществе, чтобы он мог, как целое, противопоставлять себя ему в качестве отщепенца, чтобы слишком радикально порвать с ним всякую идейную политическую связь и стремиться к революционному разрушению его. При всех идейных симпатиях к «деревне», интеллигенция была слишком тесно связана материально и духовно с «городом»; при всей идеализации потенциальной активности «народа», слишком осязательно ощущала свое общественное значение, как единственного активного элемента прогресса; при всей резкости, с которой она отрицала «беса национального богатства» и служение ему со стороны культурной части имущих классов, она не могла не чувствовать *общего источника*, которым питались и ее социальный радикализм и их политическая и культурная оппозиционность. Поэтому бакунистское революционное народничество, принципиально лишавшее интеллигенцию всякой руководящей роли в процессе социальной борьбы и отвергавшее всякую связь между «народом» и «обществом», не могло увлечь за собою всю массу интеллигентской демократии. Но оно могло и, по условиям времени, должно было увлечь за собою почти всю ее наиболее активную и самоотверженную часть, способную к решительной борьбе, словом, почти все ее революционно настроенные элементы. Противоречия русского пореформенного развития, сделавшие демократическую интеллигенцию единственной группой, способной к борьбе за устранение препятствий, стоявших этому развитию на пути, создали тот парадокс, благодаря которому передовая часть этой интеллигенции, чтобы достигнуть своего собственного группового самоопределения, чтобы ощутить свою общественную необходимость, как движущей силы национального развития, должна была об'единиться и пойти в бой под знаком идеологии, абсолютно отрицавшей эту ее не-

обходимость и эту ее роль, растворявшей ее в «сером сермяжном море». Только идейно и политически об'единившись под знаменем отвергавшего роль идей и аполитического бакунизма, передовая часть интеллигентской демократии могла развернуть такую героическую борьбу за об'ективные интересы *всего* пореформенного общества в целом, которая ее к концу десятилетия не только вновь примирила с «обществом», но и временно поставила во главе его.

Вот почему в то время, как эклектическое и социал-реформистское народничество «Отечеств. Записок» господствовало над умами *читателей*, а столь же эклектический и европеизированный суб'ективизм П. Лаврова мог создать в революционном лагере лишь слабую секту учеников, доводивших до каррикатуры рационалистический утопизм учителя и лишавших его учение всякого боевого духа, — бунтарское народничество бакунистов подчиняло себе умы и сердца *борцов*. Революционная молодежь, в общем, читала крайне мало, но из прочитанного усваивала боевые лозунги, чтобы среди всеобщей могильной тишины и застоя попытаться вызвать грандиозное движение.

III.

Торжество политики над социальным утопизмом.

Массовое хождение в народ закончилось в 1874 году арестом нескольких тысяч человек. Записка министра Палена о революционной пропаганде насчитывала 37 губерний, в которых проявилась революционная деятельность в 1873—1874 годах. В двух громадных процессах (193-х и 50-ти) и ряде более мелких правительство «ликвидировало» эту эпопею.

Среди уцелевших революционеров бакунистские идеи приобретали все большее влияние. Однако, тактика подверглась некоторому изменению. Многие революционные кружки пришли к мысли о необходимости заменить летучую агитацию основанием прочных «поселений» в деревне. Революционеры должны были приобрести в деревне известное общественное положение, чтобы получить возможность влиять на окружающие массы в ожидании подходящего случая, когда тот или иной конфликт на аграрной почве даст возможность повести бунтарскую агитацию. Здесь оказался учет опыта 1873—1874 г.г., показавшего воочию, что деревня далека от готовности восстать по первому слову агитатора.

Эти бунтарские элементы, к этому времени уже охотно называвшие себя по преимуществу «народниками», сплотились в 1876 г. в довольно обширную революционную организацию

«Земля и Воля». В то время, как базой ее являлись деревенские «поселения» в разных местах, подвижное и строго централизованное ядро организации сосредоточивалось в нескольких крупных городских центрах, где велась агитация среди учащейся молодежи и рабочих, концентрировались сведения о ходе работы на местах и откуда местные группы обслуживались силами, средствами и литературой. На юге главные революционные кружки не примкнули к «Земле и Воле» и, держась более определенных федералистских взглядов, являлись самостоятельными направляющими центрами. Члены именно этих южных кружков (Дейч, Стефанович и другие) предприняли попытку использовать аграрные волнения в Чигиринском уезде, чтобы, во имя царя, образовать среди крестьян обширную аграрно-революционную организацию.

Но чигиринская попытка осталась единственным примером успешного воздействия «бунтарей» на крестьян, да и та свидетельствовала прежде всего о прочности монархических традиций в деревне. В остальных местностях народники заметного революционного успеха не имели. Это обстоятельство вскоре же привело к тому, что прилив сил в деревенские поселения прекратился и в деревне оседали преимущественно менее боевые по настроению элементы, молча признавшие невозможность немедленной крестьянской революции и примирившиеся с перспективой долгого выжидания более благоприятных условий. В городах же организованные революционные группы были окружены плотной средой демократической интеллигенции, приходившей во все более возбужденное состояние. Ряд политических процессов, трагическая смерть нескольких обвиняемых, замученных долгим заключением, давшая повод революционерам и молодежи организовать уличные демонстрации, бурные беспорядки в высших учебных заведениях, вызванные усиленною подозрительностью власти, которую тревожило развитие революционного движения, — все это создавало революционерам атмосферу сочувствия и побуждало их использовать благоприятно складывавшуюся обстановку. Вместе с тем, с 1876 года волна политического возбуждения разлилась и по обывательской среде. Реакционная и националистическая пресса в интересах своего лагеря возбудила славянскую агитацию. Сочувствие освободительной борьбе балканских славян охватило самые разнородные круги. Подогревая шовинистические чувства, славянофильская агитация одновременно поднимала интерес к политическим делам в самой России. Когда же в результате балканского конфликта началась война с Турцией, сопровождавшаяся в первое время поражениями русской армии и скан-

дальными разоблачениями несостоятельности разных сторон государственного управления, возбужденный внешними событиями интерес к политике приобрел сильную оппозиционную окраску. В либеральной части имущих классов раздались голоса, робко подымавшие вопрос о реформах. В публике толковали о том, что Россия, воюя за свободу балканских славян, не может оставаться несвободной.

В революционной среде, рядом с основным бакунистским, анархистским течением [1]), стали проявляться революционно-конституционалистские тенденции. В конституционалистском духе писал свои политические памфлеты М. Драгоманов, в 1876 г. переселившийся заграницу. Шестидесятники Зайцев и Христофоров основали заграницей же журнал «Общее Дело», который, не примыкая ни к одному из прежних течений, носил обще-демократический характер [2]). По свидетельству В. Дебагорио-Мокриевича, на сходках революционной молодежи в южно-русских городах некоторые «радикалы» отстаивали борьбу за конституцию и, несмотря на возражения бакунистов, пользовались успехом.

Происшедший 27 янв. 1878 г. выстрел В. И. Засулич в ген. Трепова, явившись актом протеста против жестокого обращения с политическими заключенными, вызвал такое общее возбуждение, что даже подцензурная печать решилась заговорить о неизбежности таких кровавых происшествий при данных условиях. Суд присяжных оправдал Засулич, а толпа устроила после приговора уличную демонстрацию.

В то же время взвинченное настроение бунтарских кружков, не находившее себе исхода, направилось в сторону «пропаганды фактами»: примеры *личного отпора* насилию властей стали рекомендоваться, как средство расшевелить общество. В Одессе последовало вооруженное сопротивление группы бунтарей во главе с И. Ковальским при аресте типографии. Этот акт, как и другие аналогичные, действительно, вызвал большой шум и толки в обществе. Агитационный успех был налицо, но, прислушиваясь к вызванному этими действиями шуму, бунтари уже находились в плену у того самого «общества», спиной к которому они пытались стать. Ибо общественное значение их индивидуальные и групповые выступления приобретали лишь постольку, поскольку шли навстречу росту оппозиционного настроения в широких демократических и либеральных кругах. С «деятельностью в народе» эти акты уже не имели непосредственной связи даже

---

[1]) Его органом в 1878 г. являлся женевский журнал „Община“ (Эльсниц, Ралли, Аксельрод и др.).

[2]) Ближайшее участие в органе принимал Н. А. Белоголовый.

и в представлении революционеров. Такое же значение имели последовавшие террористические акты, исходившие от отдельных бунтарских кружков и направленные против различных представителей администрации.

В начале 1878 года группа литераторов, не участвовавшая непосредственно в революционных организациях, стала выпускать нелегальную газету «Начало» («орган русских революционеров», вышло 4 номера). В первом номере органа (март 1878 г.) редакция старается держаться всецело народнической программы, отвергает борьбу за конституцию, апеллирует к «анархичности русского народа» и защищает «бунтарскую» тактику. Но уже через 2 месяца, в № 4 журнала, не пользовавшегося особым влиянием, но зато довольно верно отражавшего настроения революционной среды, мы находим признание, что хотя «самый факт замены самодержавного правительства конституционным... совершенно безразличен для социалистов» и, хотя конституция «всегда служит орудием в руках буржуазии для угнетения народных масс», но, тем не менее, «политический переворот должен представляться желательным». Гораздо решительнее был призыв к «политике» в неподписанном «Летучем Листке» (№ 1, апрель 1878 г.), принадлежавшем перу Н. К. Михайловского и комментировавшем оправдание судом присяжных В. Засулич. «Выход... указывает само положение вещей... Разрозненные, беспорядочные факты должны быть возведены в принцип. Принцип этот называется: конституция, земский собор». Если земский собор не будет созван, «в стране должен возникнуть тайный комитет общественного спасения».

Очевидно, идея о таком тайном комитете носилась в воздухе. Террористические акты этого года сопровождались воззваниями от имени «Исполнительного комитета социально-революционной партии», — группы южных бунтарей во главе с В. Осинским и другими.

Начавший выходить с октября 1878 года в России оффициальный орган революционной партии («Земля и Воля») должен был дать принципиальное обоснование фактическому повороту в движении. В начале он пытается стать на точку зрения политического *оправдания* террористических актов, отказываясь признать их целесообразным средством борьбы. «Есть признаки, показывающие возможность... увлечения этого рода борьбой», говорится в 1-м номере. «Мы должны помнить, что не этим путем добьемся освобождения рабочих масс. С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против класса может восстать только класс. Поэтому главная масса наших сил

должна работать в среде народа». Тут же террористы признаются «охранительным отрядом», имеющим задачей защищать эти главные силы от репрессий врага.

Но стихийное развитие террора и его действие на общество сдвигают «землевольцев» с этой позиции. В № 2—3 «Листка Земли и Воли», вышедшем в марте 1879 года, уже заявляется, что террор — «один из лучших агитационных приемов». Вскоре после того последовал подготовленный членами партии выстрел Соловьева — покушение на цареубийство, которое уже никак не втискивалось в рамки «самозащиты», направленной против охранительных и репрессивных органов власти. Так на эволюции взглядов самих «землевольцев» оправдывалось заявление в № 1 их органа о том, что «делу Засулич суждено быть одним из поворотных пунктов в истории русской революции». Но не такова была судьба другого сделанного там же предсказания о таком же значении для движения «чигиринского дела». Газета полагала, что пример этого дела поставит на прочные основания агитацию в деревне, указав практический путь для приобретения влияния на крестьянские массы посредством организации их борьбы во имя ближайших местных аграрных нужд. К этой мысли газета возвращалась неоднократно, подчеркивая необходимость внесения большей практичности и почвенности в агитацию среди крестьян. На деле же, как указано выше, приток сил в деревню ослабевал, и успех работы осевших в деревне представлялся незначительным.

Отстаивая принципы бакунинского бунтарства, «Земля и Воля» усиленно подчеркивала свое отрицательное отношение к якобинским мечтам о «захвате власти» и свое нарочитое пренебрежение к либеральному конституционализму. Но, отрицая в программной статье 1-го номера серьезное значение за либеральным движением, газета все же осторожно прибавляла: «Наши отношения к ним (конституционалистам) определятся, когда они выступят, как действующая партия».

Революционерам, конечно, было известно, что в либеральной среде происходит известное брожение, свидетельствовавшее о некоторой вероятности такого выступления конституционалистов, как «действующей партии». Действительно, в земских кругах передовые элементы стали шевелиться. Черниговское, харьковское и некоторые другие земства выступили с адресами, в которых говорилось о необходимости политических реформ и невыносимости режима бесправия. С еще большей силой возраставшее политическое брожение в интеллигентской демократии явно свидетельствовало о том, что агитация и боевые действия революционеров делают их

серьезным общественным фактором именно в той мере, в какой они возбуждают в известных слоях населения надежды на изменение режима в конституционном духе.

Противоречия между исходными посылками бакунизма и об'ективным положением, в которое попали бакунисты, должно было привести к внутренним трениям в самом революционном лагере. После выстрела Соловьева «деревенщики», как назывались правоверные бакунисты, начали восставать против усиливающейся роли «дезорганизаторской», т.-е. террористической деятельности, как ведущей к отказу от агитации в народе и носящей явно политический характер. На происшедшем летом 1879 г. с'езде партии в Воронеже произошел раскол; «политики» образовали партию «Народной Воли», открыто поставившую своею целью политический переворот. Публицисты партии первоначально старались доказать, что революционеры лишь прибавили новое средство к прежним средствам борьбы против всего существующего строя; что они не отказываются от первоначальной народнической концепции и что созыв учредительного собрания, который партия написала на своем знамени, будет лишь прологом к всеобщему мужицкому бунту и уничтожению основ капиталистических отношений. Но постепенно в «народовольческой» литературе стали слышаться другие ноты. В написанных Н. К. Михайловским «политических письмах социалиста» революционеры приглашаются отделаться от народнического предрассудка об опасности политической свободы для народного дела. «Вы боитесь конституционного режима в будущем, потому что он принесет с собою ненавистное иго буржуазии. Оглянитесь: это иго уже лежит над Россией» *при абсолютизме*. «Отстраняясь от политической борьбы, задержали ли вы развитие буржуазии? Нет, вы помогли ему, потому что, чем самодержавнее исправник, тем легче кулаку грабить». Вместе с предрассудком против политической свободы, Михайловский разбивает и остатки веры в возможность народного восстания. «Люди революции рассчитывают на народное восстание. Это — дело веры. Я не имею ее» [1]). Михайловский идет дальше и критикует бакунистское отношение к либеральной оппозиции. Союз с либералами тоже не страшен, если вы вступите в него честно и без лицемерия об'явите им свой святой девиз «Земля и Воля». Они к вам пристанут, а не вы к ним... Я думаю, что многие либералы гораздо ближе к вам, чем вам кажется». Террор не есть тактика, носящая специфический социалистический характер: «это просто особый род борьбы, к которому прибегают

[1]) „Народная Воля" № 2.

и аристократы, и клерикалы, и либералы, и просто интриганы [1]).

Аналогичные ноты звучат и в легальной публицистике 1879 — 1881 г.г. Народническая литература становится радикальным авангардом всей оппозиционной печати, требующей развития реформ 60-х г.г. и «увенчания здания».

Принципиальный антагонизм между интеллигентской демократией и имущим либерализмом, столь резко выступавший в начале десятилетия, тем самым почти совершенно сглаживается, а сама легальная народническая публицистика играет роль моста, соединяющего революционную партию с ее грозной боевой тактикой, «отщепенской» идеологией и в значительной мере еще бунтарской фразеологией — с лагерем либеральной оппозиции, быстро мобилизующейся в атмосфере всеобщего возбуждения, вызванного успехами террористов. С 1878 года начинаются тайные совещания и с'езды более решительных земских деятелей; в некоторых земствах происходят дебаты о политическом положении и формулируются политические требования имущего общества. Эти либеральные выступления побуждают правительство, сильно испуганное успехами террора, начать в 1880 г. эру заигрывания с «обществом». Таким образом, революционая партия, обанкротившаяся в своей попытке вызвать крестьянскую социалистическую революцию, в короткое время своей политической борьбы выполнила задачу, которую, по об'ективным условиям, она только и могла выполнить: своей атакой она подготовила почву для политического выступления наиболее влиятельных слоев имущих классов, обладающих элементами организации (земское и городское самоуправления) в рамках самого пореформенного строя и имевших серьезного союзника в широких кругах интеллигентской демократии. События, однако, показали, что либеральное общество не обладало достаточной зрелостью, чтобы использовать создавшееся положение. В комедии, инсценированной гр. Лорис-Меликовым, оно оказалось одураченным. Никакой серьезной борьбы за политическую свободу оно не предприняло и, ограничившись несколькими скромными петициями земских собраний, не сделало никаких действительных шагов к возбуждению агитации в более широких слоях населения. Некоторые попытки либералов столковаться с революционной партией о совместных действиях не имели сколько-нибудь значительных последствий. После 1 марта 1881 года либеральные элементы пришли в замешательство перед контр-революционной волной, поднявшейся из среды

[1]) „Н. В." № 3.

реакционных слоев дворянства и мещанства (образование «Священной дружины», антиеврейские погромы), и не сумели воспользоваться моментом смятения в правящих сферах. Когда в том же году М. Драгоманов основал заграницей «Вольное Слово», оно не встретило прочной поддержки в земских и академических кругах имущего либерализма, а образовавшееся в России тайное общество «Земский Союз» вскоре же замерло.

В свою очередь, натолкнувшись на незрелость и апатию имущей оппозиции и к этому времени уже сознательно отказавшись от попыток прямого воздействия на народные массы, революционная партия после 1 марта быстро склонилась к упадку и к 1884 году исчезла под ударами полиции. Последний этап в ее развитии ознаменован попыткой организовать офицерский заговор. В немногочисленных кружках оппозиционного офицерства партия «Народной Воли» нашла единственный боевой элемент из общества, вне традиционной разночинско-интеллигентской среды.

Падение революционной партии «Н. Воли» было, вместе с тем, и крахом всего народничества. Широкие круги демократической интеллигенции были глубоко деморализованы и разочарованы в «политике» и в своей собственной героической миссии. Скромное «культурничество» на службе у либеральной части имущих классов — под этим знаком выступила оставшаяся верною народничеству часть интеллигенции в серую эпоху 80-х годов.

Теоретическим провозвестником этого примирения народничества с «обществом» и его отказа от революции явился В. В. (Воронцов), экономические очерки которого, печатавшиеся в «Отеч. Зап.» с 1880 года, развивали фаталистическую идею немыслимости успехов русского капитализма в его борьбе с натурально-общинным крестьянским хозяйством. Тогда как революционное народничество 70-х г.г., Н. К. Михайловский и первоначальное народовольчество одинаково исходили из несомненности движения России по пути капиталистического развития и ставили себе задачей *остановить* это движение в интересах трудящихся масс, —в статьях В. В., оказавших влияние и на позднейшую публицистику народовольцев (Л. Тихомиров), государственное «насаждение» капитализма рисуется, как бесплодная растрата средств, как утопическая политика, разбивающаяся о живучесть и способность к самостоятельному развитию устоев русского народа. Те оппортунистические ноты, которые слышались в начале 70-х г.г. в народнической публицистике «Отеч. Зап.» и иногда пробивались в статьях Михайловского, окрашивают уже всю схему В. Воронцова: задача

эмансипации крестьянства от капитализма для него лишена всякого революционного содержания и сводится к логическому продолжению той государственной политики, которая совершила в 1861 г. «освобождение крестьян с землей». Охранительная экономическая политика, направленная к защите общинного землевладения, развитию кустарного производства и артелей, мыслится в рамках наличных классовых отношений, не требуя ни низвержения экономически господствующего класса, ни коренного политического преобразования.

IV.

Либерализм, национализм и реакционные течения.

Рядом с яркой и полной идеалистического воодушевления публицистикой разночинной демократии либеральная публицистика 70-х г.г. представляется бледной и тусклой. Главный ее орган — «Вестник Европы», — имевший в своей среде двух крупных публицистов: А. Н. Пыпина и К. К. Арсеньева, и ряд ученых и даровитых сотрудников, ни на один момент не мог стать властителем дум читающей публики. Перед поднятыми радикальной публицистикой вопросами о направлении общественного развития России, двигавшими русскую мысль дальше по пути, проложенному Герценом и Чернышевским, отстаивание *буквы* старого «западничества» против эпигонов славянофильства представлялось анахронизмом; и старомодный сюртук, в котором выступал западнический либерализм, мешал читателям уловить ту ноту здорового и основательного скептицизма, который иногда слышен был в либеральной критике народнических идей. В непосредственно-политической области журнал защищал консервативную позицию, выступая неизменным адвокатом реформ 60-х г.г. и созданных ими учреждений против бюрократической и крепостнической реакции; но под этой защитой, сопровождавшейся умеренной и конституционалистской пропагандой, не было цельного основания ни в фритредерски-индивидуалистской, ни в радикально-демократической идеологии, характерных для освободительной эпохи. В то время, как первая стала знаменем активных элементов буржуазии периода хищнического «первоначального накопления», а вторая, приняв революционно-народнический характер, повернулась против «культурного общества», публицистика доктринерского либерализма заняла промежуточное положение между буржуазией и разночинной демократией и могла опираться лишь на немногочисленные кружки просвещенных

помещиков и бюрократов. К концу десятилетия, по мере того, как революционное движение интеллигенции приобретало непосредственно-политический характер и стало оказывать возбуждающее влияние на общество, либеральная публицистика почувствовала под ногами некоторую почву и стала выступать увереннее, как в своей оппозиции правительству, так и в своей критике революционного русского социализма и европейских социалистических доктрин (статьи А. Градовского, Чичерина, Ю. Жуковского). Научная ценность этой критики представляется, однако, весьма невысокой. В политической же области именно эта одновременная борьба на два фронта — против реакции и против социализма — обессиливала энергию либеральной оппозиционной печати, которая, не имея за собою организованной и самостоятельно борющейся общественной силы, постоянно сбивалась с требований общественного контроля и политических реформ на предложение государству услуг «общества» для успешной борьбы с «крамолой». Это обстоятельство, конечно, лишало либеральную печать возможности приобрести моральный авторитет в широких кругах интеллигентской демократии.

В период ожесточенной борьбы революционеров с правительством в конце 70-х годов либералы, даже самые передовые из них, не решались сколько-нибудь открыто солидаризоваться с стремлениями революционной партии, которые выражали собою насущнейшие потребности общенационального развития. В проекте адреса, предложенном черниговскому земскому собранию И. И. Петрункевичем, говорилось: «Борьба с разрушительными идеями была бы возможна лишь в том случае, если бы общество располагало соответственными орудиями. Эти орудия: слово, печать, свобода мнений и свободная наука. Общественного мнения не существует, ибо нет органа для его выражения, нет печати, которая, руководясь не страхом административных взысканий, грозящих ей, а имея в виду интерес общества, его мирное развитие, его насущные потребности и возможные опасности, пробуждала бы чувство самостоятельности, чувство самосохранения и поддержания основ, на которых зиждется государственный строй». Полтавское земство требовало организации народного представительства для того, чтобы «вырвать зло с корнем и побороть пропаганду, предпринятую врагами правительства и общества». Харьковское земство, писавшее в своем адресе: «дай Твоему народу то, что Ты дал болгарам», заявляло в то же время о своем намерении «бороться за общественный порядок, собственность, семью и веру». Эта склонность мотивировать требование политической свободы инте-

ресами более успешной борьбы с революционными стремлениями демократии вызывала неудовольствие не только органов революционной печати, но и тех более решительных либералов, которые группировались в «Земскую Лигу» (позднее преобразовавшуюся в «Земский Союз»). Они, между прочим, писали в брошюре «Ближайшие задачи земства»: «Мы думаем, что полтавское и харьковское земства стали на ложный путь. Какие конституционные блага мы посулим русскому народу, если наперед обязуемся душить и истреблять людей, ими живущих».

Кроме указанных земств, в 1878 году конституционалистские заявления сделали еще самарское и тверское. Правительственные репрессии на время приостановили это движение.

Назначение диктатором гр. Лорис-Меликова (после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года) вызвало новое брожение в либеральной среде. Поданная 25 марта того же года правительству записка двадцати пяти московских «именитых граждан» требовала «созвания независимого собрания из представителей земств и предложения этому собранию участия в управлении нацией и в выработке необходимых гарантий для прав личности, свободы мысли и слова». Ряд земств в своих заявлениях по поводу предполагавшихся правительством экономических и административных реформ делал указания о невозможности проводить частичные реформы вне связи с реформой «общего строя нашей жизни». Отдельные земства (самарское, тверское, тульское) говорили о необходимости самые реформы подвергнуть предварительному рассмотрению представителей населения; но прямых конституционалистских заявлений в течение 1880—1881 г.г. вплоть до 1 марта земствами не делалось. Как писал Ю. Скалон [1]), «земские представители обнаружили большую умеренность: полагаясь на мудрость и благонамеренность власти, они не заявляли никаких требований, воздерживались от всяких указаний на желательные реформы. Глубокая вера в прочность устанавливавшегося порядка заставляла их терпеливо ожидать мероприятий со стороны самого правительства».

Эта вера подверглась большому испытанию, когда катастрофа 1 марта 1881 года привела к крайнему обострению борьбы правительства с «Народной Волей». В первый момент, под впечатлением события, столичные либеральные газеты говорили довольно решительно: «Государь... спросите Вашу землю в лице излюбленных людей», писал орган Ста-

[1]) Мнения земских собраний и т. д.

сюлевича «Порядок». Другая либеральная газета, орган Л. Полонского, которого впоследствии С. Южаков характеризовал, как представителя буржуазного индивидуалистического и фритредерского радикализма — «Страна» — писал в своей конституционалистской статье: «Личность русского царя да служит впредь только вполне симпатичным символом нашего национального единства».

В отдельных заявлениях земств (рязанское, новгородское, самарское, тверское, казанское, таврическое, херсонское, харьковское, полтавское, бессарабское, смоленское, владимирское, петербургское, псковское, костромское, солигаличское), дворянских собраний (черниговское, петербургское, самарское) и городских дум (казанская, череповецкая) вновь раздается требование созыва «представителей земли», опять-таки соединяемое с обещанием помощи правительству в его «борьбе с крамолой». Но уже на правом фланге либерального лагеря начиналось отступление. Такие видные представители либеральной науки, как А. Д. Градовский и Б. Н. Чичерин, подавали гр. Лорис-Меликову записки, доказывавшие нежелательность или несвоевременность введения конституции и необходимость ограничиться реформой бюрократического абсолютизма. Чичерин писал: «власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени перед угрозой. Монархический порядок совместим с свободными учреждениями лишь тогда, когда они являются плодом мирного развития, спокойной инициативы самой верховной власти». Правое крыло земско-либерального лагеря готово было удовлетвориться тем совещательным представительством земцев в Государственном Совете, которое проектировал Лорис-Меликов. Но вскоре после 1 марта Лорис-Меликов пал, и надежды на эту реформу разлетелись прахом.

Крайнее левое крыло земцев, группировавшееся в тайном «Земском Союзе», с августа 1881 года стало выпускать в Женеве «Вольное Слово». Его программа требовала демократической конституции на основе всеобщей подачи голосов и федеративной организации государства.

По мере того, как выяснялась слабость революционной партии и ее неспособность победить собственными силами, либеральная среда, на которую все больше обрушивались правительственные гонения, приходила в замешательство. «Вольное Слово» сошло со сцены еще раньше, чем прекратилось издание органов эмигрантской печати революционного крыла. «Земский Союз» распался к 1884 году. Не имея под собою прочной базы в лице однородного экономически-прогрессивного класса населения, либерализм 70-х г.г., свя-

занный с земскими кругами и высшими слоями городской интеллигенции, не мог развиться в серьезную политическую силу и выработать устойчивую идеологию, могущую в какой-нибудь мере соперничать с идеологией народнической демократии.

Еще более резко выступали те же черты политической бесхарактерности и оппортунизма в ежедневной умеренно-прогрессивной печати, обслуживавшей среднего городского обывателя и до известной степени отражавшей процесс его общественного роста.

«Прежняя либеральная литература», писал в 1872 году Н. К. Михайловский о печати 60-х г.г., — «имела перед собой ясно поставленную живую цель, около которой, как около центра, группировались все побочные вопросы. Цель эта была — освобождение крестьян. Нынешняя либеральная литература такой ясной, осязательной цели не имеет... Нельзя не видеть еще одного громадного преимущества прежней либеральной литературы: она могла относиться к своей цели безусловно правдиво и искренно, ибо на цели этой не было и нет ни малейшего пятна, в ней не было и нет ни малейшей раздвоенности. Теперешняя либеральная литература не смеет прямо взглянуть в лицо будущему. Она не может быть искренна, потому что те общие места и расплывающиеся неопределенности, которые составляют для нее суррогат осязательной цели, значительно зачернены, как самым ходом европейской истории, так и многочисленными раз'яснениями его и в европейской и в русской литературе. Все мы очень хорошо знаем, что политическая и экономическая свобода в Европе оказалась новым видом рабства народа, что «национальное богатство» оказалось там нищетой народа и проч. Спрашивается: в какой мере горячо и искренно может преследовать литература эти цели. Благодаря этой раздвоенности русская либеральная литература оказалась в положении Буриданова осла, который стоит между двумя связками и не знает, за которую из них схватиться. Но так как, проголодавшись, осел все-таки должен сделать выбор, то и русская либеральная литература выбирает себе, наконец, известный путь, все-таки косясь, однако, на другую связку сена. Отсюда мелочность, несмелость и, скажем прямо, нечестность современной русской либеральной литературы». И Михайловский далее ставит этот межеумочный характер либеральной публицистики в связь с отсутствием за нею «сильной, богатой, образованной буржуазии», которая имеется в Западной Европе.

Влиятельные органы этой либеральной прессы — «Петербургские Ведомости», «Голос», «Новое Время» — при общем

прогрессивном направлении занимали определенно-враждебную позицию по отношению к той единственной решительной борьбе, которая велась крайней демократией. Только после оправдания В. Засулич петербургским судом присяжных, некоторые из либеральных органов в течение короткого времени под влиянием общественного мнения пытались заговорить о революционном движении более независимым языком. Обычно же сервилизм этой прессы и ее полное непонимание об'ективного значения совершавшейся борьбы делали ее, несмотря на ее антагонизм к правительственному режиму, его союзником в борьбе с демократическим движением.

В средине десятилетия та же пресса, значительно более распространенная и влиятельная, чем пресса реакционная, стала проводником националистических стремлений и завоевательных планов бюрократии.

Старое романтическое славянофильство к этому времени сошло со сцены. Эпигоны славянофильства превратились в реакционных панславистов, преследовавших империалистские цели. Их влияние в начале 70-х г.г. распространялось лишь на некоторые бюрократические и интеллигентские круги и не шло далее. Только к Ф. М. Достоевскому, вводившему кое-какие народнические элементы в свое мистическое миросозерцание, прислушивалась более широкая аудитория.

Балканское движение изменило положение славянофилов в русском обществе. В то время, как среди радикальной молодежи движения балканских славян вызвали совершенно определенные симпатии, как восстания народных масс против тиранической государственной власти, в широких кругах имущих классов они были приветствуемы, как эпизоды борьбы за расширение сферы политического влияния России. Инспирируемые дипломатическими сферами, славянофильские группы развернули довольно сильную агитацию, под влиянием которой впоследствии правительство решилось на войну с Турцией. Либеральная пресса в значительной своей части примкнула к поднятой славянофилами агитации и способствовала тому, чтобы свободолюбивые тенденции, вносившиеся частью интеллигенции в славянское дело, были заглушены консервативным национализмом.

Славянофильские надежды были безжалостно разбиты берлинским трактатом, сделавшим Россию, вместо освободительницы славян от германизма, вассалом прусской монархии. Но националистическая агитация, поднятая вокруг «славянского дела», не прошла бесследно: если само славянофильство с того времени окончательно клонится к упадку, то закладываются основания более беспринципного, но и бо-

лее практического современного русского национализма, враждебно обращенного не столько против соседних государств, сколько против не-русских народностей, населяющих Россию. Со времени русско-турецкой войны видное влияние на общественное мнение мещански-бюрократической среды начинает приобретать «Новое Время» Суворина, постепенно вырабатывающееся в патентованный орган воинствующего русского национализма, ведущий за собою целый ряд аналогичных органов провинциальной печати, в которых находит свое выражение глухая борьба национальных групп имущих классов окраин. Антисемитизм и полонофобия,—а впоследствии и травля финнов и армян,—становятся из простых, более или менее побочных, аксессуаров реакционной идеологии самостоятельными общественными течениями, коренящимися в условиях жизни, порожденных вялым развитием капитализма и отсутствием путей для развития классовой самодеятельности. Связь этих идейных течений, образовавших русский национализм последних десятилетий XIX века, с стихийными стремлениями относительно широких кругов населения сказалась в том факте, что в течение некоторого времени либеральная печать (напр., «Голос») отчасти сама не чужда была антисемитских тенденций; а в первой половине 80-х годов в прогрессивных органах печати и по еврейскому и по польскому вопросу встречаются крайне реакционные суждения [1]). Лишь впоследствии, когда роль национализма, как главного орудия влияния реакционных сфер на известные слои населения, стала очевидна, начало намечаться и более принципиальное отношение либерализма к вопросам внутренней национальной борьбы.

С появлением на сцену воинствующего национализма реакционные верхи общества и бюрократии приобретают известную точку опоры в тех средних и низших слоях городского населения, на завоевание которых рассчитывали либерализм и революционная демократия. Соответственно этому перерождается в некоторой мере и политическая идеология реакционных представителей правящих групп. В течение 70-х г.г., с исчезновением скарятинской «Вести», убежденно пропагандировавшей господство земельной аристократии, русская консервативная идеология, в лице М. Каткова и особенно К. Леонтьева, стоит на почве полного поглощения личности всемогущим бюрократическим государством. Если она защищает сословный строй и сословные привилегии, то делает это не во имя интересов тех или других обществен-

[1]) Отметим статьи С. Н. Южакова, против которых выступил (по еврейскому вопросу) Н. В. Шелгунов.

ных групп, но во имя охранения государственного порядка, т.-е. господства бюрократии. В идеологии Леонтьева и Каткова 70-х г.г. бюрократический абсолютизм выражал свою победу над общественными движениями 60-х г.г., апогей своего возвышения над обществом, в котором социальное могущество старого господствующего класса было подорвано эпохой реформ. По мере того, как в пореформенном обществе стали определяться новые движения, поколебавшие к концу десятилетия общественный порядок, эта своего рода «надклассовая» позиция абсолютизма становится анахронизмом. Отвергнув мечтательные проекты славянофилов об организации «силы мнения» умеренных консервативных элементов общества, представители интересов абсолютизма стали искать опоры в обществе путем эксплоатации социальных и национальных противоречий разрозненных и дезорганизованных групп населения. Если, с одной стороны, они выдвигают «национальную политику» и тем получают возможность опереться на некоторые стихийные движения в самом населении, то, с другой стороны, выдвигается «дворянская», «крестьянская», «рабочая» политика и, наконец, политика «покровительства отечественной промышленности», причем, например, Катков энергично выступает в роли защитника домогательств крупной буржуазии, которая умеет использовать для себя поощряемый сверху мещанский национализм. Наконец, и церковная политика абсолютизма приобретает более явный клерикальный характер.

Лишь по мере того, как ослабевает революционная опасность и стихает общественное возбуждение, лишь к 90-м годам бюрократия отчасти возвращается к идеалам чистого полицейского абсолютизма, чтобы снова, как в конце 70-х г.г., оказаться в совершенно изолированном положении среди мобилизующихся к концу века общественных сил. Отражаясь на идеологии представителей реакции, этот круговорот политики не давал ей окристаллизоваться в сколько-нибудь стройную и последовательную теорию русского абсолютизма.

V.

Кризис народничества. — Марксизм.

Через бакунистское народничество к народовольчеству русская демократическая интеллигенция прошла в 70-ые г.г. путь от принципиального отрицания своей руководящей роли в процессе народной жизни к самоутверждению в качестве единственного фактора, способного активно творить общественный прогресс. Неудача народовольческого заговора

явилась вместе с тем и крушением всего субъективистско-народнического мировоззрения, которое в разных своих оттенках объединяло всю демократическую интеллигенцию 70-х г.г. и единство которого выражало объективную возможность движения этой интеллигенции, как особой замкнутой общественной группы. Отныне этого объективного единства движения русской «интеллигенции» нет и, вместе с тем, исчезает и единство общих основ мировоззрения. И в то время, как среди большей части демократической интеллигенции 80-х г.г. происходил процесс взаимного проникновения элементов утопического народничества и более или менее буржуазного либерализма, другая, значительно меньшая, часть этой интеллигенции круто порвала с основными посылками народнического миросозерцания и тем самым одновременно возвращала себе идейную независимость и «отщепенское» положение по отношению к имущему обществу. Идейное развитие, проделанное народниками в течение нескольких лет бурного общественного возбуждения, привело именно наиболее упорных последователей народнической ортодоксии к необходимости теоретического пересмотра всего идейного наследия пореформенной интеллигенции. Так из умирающего революционного народничества возник русский социал-демократический марксизм, который в следующую эпоху общественного подъема заменил народничество в роли идейного «гегемона» среди различных течений прогрессивной мысли.

Имя Маркса с самого начала 70-х г.г. стало пользоваться значительным уважением среди русской читающей публики — и это, несмотря на ее идейные симпатии к бакунизму, который в то время вел в Европе беспощадную войну против марксизма. Уже в 1872 году был переведен на русский язык «Капитал», и его критическим анализом противоречий капиталистического строя охотно пользовались народнические писатели. Но философско-исторические идеи Маркса оставались чужды русской радикальной интеллигенции. Тем не менее, литературные представители народничества, как в «Отеч. Записках», так и в «Земле и Воле», считали уже нужным ставить вопрос о применении исторической концепции Маркса к судьбам русского народа и решали его в отрицательном смысле, отмечая, по выражению Михайловского, «трагическое положение русских марксистов», которым, как казалось народникам, пришлось бы способствовать хищническому русскому капитализму в деле обезземеления крестьян и экспроприирования кустарей, чтобы только оставаться верным «марксовой догме» общественного развития от частной собственности к коллективизму.

Между тем, знакомство с текущей социалистической публицистикой в Зап. Европе постоянно наталкивало мысль русских социалистов на вопрос об отношении их программ и задач к научным принципам, установленным Марксом и приобретавшим все большее влияние в западно-европейском рабочем движении. После появления книги Энгельса против Дюринга внимание отдельных единиц было привлечено и к философско-исторической стороне марксизма. Н. И. Зибер дал (в «*Слове*») реферат об этой книге и в других статьях выступил в качестве сторонника экономического материализма. Некоторые другие публицисты, как, напр., Н. Русанов (в «Деле»), также защищали материалистическое понимание истории.

Как выше указывалось, Бакунин в своих построениях русской революции пытался опереться на материалистическое понимание истории, но при этом крайне вульгаризировал учение Маркса, *поскольку* совершенно не усвоил себе его диалектической стороны. Благодаря ему наиболее вдумчивые из бакунистов-народников были, однако, в известной мере подготовлены к дальнейшему углублению в теорию научного социализма. Но для того, чтобы они сделали решительные шаги в этом направлении, необходимо было полное крушение революционного народничества.

Стихийно совершившийся отказ «землевольцев» от прежнего понимания «работы в народе» и последовавший затем их сознательный разрыв с традиционным бакунистским отношением к «политике» оттолкнули от большинства революционной партии наиболее теоретически выдержанных народников. Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод стали во главе недовольной части революционеров и пытались образовать партию «Черный Передел», которая оставалась бы целиком на почве народнического бунтарства. Но события сделали невозможным развитие этой партии. Вопрос политической борьбы заслонял собою все остальные вопросы в сознании той среды, в которой действовали революционеры. Самому «Черному Переделу» — литературному органу этого направления—пришлось, продолжая идейную борьбу против «якобинских» элементов народовольчества, отказаться от традиционного бакунистского равнодушия к борьбе за политическую свободу и поставить себе задачей *дополнить* политическую борьбу террористов агитацией в народе, дабы конституционный переворот мог повлечь за собой социально-революционное движение крестьян. Сгруппировать вокруг себя значительные силы новой партии не удалось и она скоро сошла со сцены. Но занятая ее лидерами скептическая позиция по отношению к новому зигзагу в развитии интелли-

гентской мысли позволила им уберечь себя от последствий того теоретического разгрома, которому идеология семидесятников подверглась вместе с политическим поражением народовольцев.

Для литературных представителей «Черного Передела» концентрация демократических элементов города вокруг народовольчества представлялась тем, чем она и являлась объективно, — первым политическим выступлением нарождающейся буржуазной демократии, созданной пореформенным развитием капитализма. Самоидеализация интеллигенции в идеологии «Народной Воли» не могла скрыть этого факта от бакунистов, знакомых с процессом самоопределения республиканской демократии на Западе. В лице демократической интеллигенции русский город выступал на тот путь борьбы за политическую реформу, который, как знали бакунисты из истории Запада, ведет к ненавистной им «буржуазной свободе» и к открытию свободной дороги для всестороннего развития капитализма. Старое революционное движение, исходившее из принципиального разрыва с имущим «обществом» и противопоставления ему деревни, пришло к примирению с обществом и руководству его борьбой против крепостнических пут. Но политическая свобода, завоеванная «обществом», как знали бакунисты, ведет непосредственно не к социальной эмансипации «народа», а к его порабощению буржуазией. Приходилось или отказаться от поддержки ведшейся во имя политического преобразования борьбы или пересмотреть теорию, согласно которой политический прогресс в рамках буржуазных отношений производства означает непременно социальный регресс.

Таким путем мысль чернопередельцев неизбежно шла к новому анализу условий экономического развития России. Этот анализ привел к разрушению народнической иллюзии о незатронутости деревенского мира противоречиями капиталистического строя. Сама народническая литература, в лице бытописателей-беллетристов и экономистов-статистиков, подготовила богатый материал, колебавший все прежние представления о цельности и прочности внутреннего строя деревенских отношений. Рассматривая их в свете нового опыта, чернопередельцы убеждались в том, что для русского народа уже началась та экономическая история, дальнейшие этапы которой они наблюдали в передовых странах Запада. Маркс, которого в 70-х г.г. призывали лишь как свидетеля для обличения зол капиталистического строя, оказался теперь единственной надежной опорой для критики того поворота *от народа*, от задач социальной эмансипации, к которому логически неизбежно привела бакунистская эпопея.

Разрывая окончательно с бакунизмом, Плеханов и Аксельрод разрывали и с прежними представлениями о суб'екте грядущего народного движения. Пока бакунистское народничество эволюционировало к политическому народовольчеству, на фоне русской жизни явственно стал вырисовываться непредвиденный и прямо отрицавшийся народническими теориями социальный класс—пролетариат, уже довольно резко выделявшийся из «сплошной» массы крестьянства. Опыт собственной пропаганды бунтарей среди городских рабочих и — еще более — стихийное стачечное движение конца 70-х г.г. показали основателям с.-д. группы «Освобождение Труда», что и в России носителем передовых идей социального освобождения должен будет стать создаваемый капитализмом пролетариат. В первом же произведении новой группы («Социализм и политическая борьба» Плеханова), вышедшем в 1883 году, боевой нотой прозвучал призыв — вернуться к *западнической* традиции, отказаться от принципиального противопоставления России Европе, на котором, в конце-концов, базировалось все движение демократической мысли в 70-е годы.

Образование самостоятельной рабочей партии для независимого участия в борьбе «общества» и демократии за политическую европеизацию России — так формулирована была задача нового общественного направления, появление которого, само будучи симптомом значительной европеизации русских общественных отношений, внесло первую глубокую брешь в традиционное идеологическое единство интеллигентской демократии.

А через два года после появления брошюры «Социализм и политическая борьба» М. Н. Катков констатировал по поводу событий на фабрике С. Морозова, что рабочий вопрос народился в России.

II. Общественные движения и умственные течения в период 1884—1905 г.г.

I.

Демократическое народничество владело умами поколения 70-х годов. В начале следующего десятилетия оно, представленное партией «Народной Воли», стоит во главе общественного движения, оказывая прямое или косвенное влияние на все общественно-активные или только пробуждающиеся к политическому мышлению слои населения.

Как мы уже указывали в предыдущем очерке, народничество, как общественное движение, достигло этого апогея своего значения в такой момент, когда теоретические основы его, как цельной идеологии, представлялись уже чрезвычайно расшатанными внутренней самокритикой. «Народная Воля» выделилась из партии «Земли и Воли» в результате программных и тактических споров, выяснивших невозможность обосновать начинавшуюся партией политическую борьбу с точки зрения правоверного народничества. Последовательные народники, чтобы, при обнаружившейся несостоятельности всех надежд на крестьянское движение, спасти себя от превращения в простых политических радикалов, не связанных с социальными интересами и социальной борьбой трудящихся масс, должны были, по примеру Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода, прийти к отрицанию основных экономических положений народничества и воспринять социал-демократический марксизм. Таких было немного. Остальные либо безнадежно топтались на одном месте, вновь и вновь возвращаясь к попыткам «работы в деревне», либо— и таких скоро оказалось большинство — отказывались от сведения концов с концами в теории и примыкали к действовавшей во имя ясных ближайших целей «Народной Воле». Эти ближайшие цели — в их общем виде — сближали подпольных деятелей «Народной Воли» с передовой легальной интеллигентской демократией, оказывавшей известное влия-

ние и на более умеренные круги имущих классов. В наиболее крайнем органе легальной демократической литературы — в «Отечественных Записках» — стремления и настроения начала 80-х годов нашли свое наиболее полное и талантливое выражение. В статьях Н. К. Михайловского демократической интеллигенции «критически-мыслящих личностей» указывалась вместо прежней задачи — «растворения в сером сермяжном море» — задача завоевания для всей страны, для всех классов элементарных условий гражданской самодеятельности и доказывалась неизбежность конституционной реформы и возможность, несмотря на ее введение, избежать отдачи крестьянства на поток и разграбление капиталистической буржуазии. В своих «внутренних обозрениях» Г. З. Елисеев, один из руководителей «Современника» 60-х годов, разоблачал, с точки зрения последовательного демократа, все акты правительственной политики и особенно его экономическую политику, вскрывая ее разорительные последствия для деревни и борясь с иллюзиями реакционной подделки под народничество, которою в течение короткого времени правительственные сферы пытались после первого марта 1881 года сбить с толку общественное мнение. Достигая высшего своего расцвета, сатира Салтыкова-Щедрина целиком концентрировала теперь свои удары на бюрократии и реакционных общественных группах, ее поддерживавших, и, продолжая обличать дряблость, общественную пассивность и неспособность к сопротивлению, присущие, так наз., «культурной» среде, еще более заостряла внимание и надежды на героической борьбе интеллигентов-одиночек.

Но народнический период в истории русской интеллигенции близился к концу. После 1-го марта революционная партия склонилась к упадку. Вместе с нею и народнический демократический радикализм стал ослабевать, поражаемый как все более сильными ударами контр-революции, так и поднимавшейся волной общественной реакции. Закрытие «Отечественных Записок» в 1884 году уничтожило главную «литературную лабораторию» радикального народничества. Попытки его последователей создать новые пункты литературной концентрации разбивались не только о внешние условия, но и об явное равнодушие той среды, настроениями которой питались «Отечественные Записки». И не случайно с закрытием этого журнала два его главных работника — Салтыков и Елисеев — сходят в качестве публицистов со сцены. Лишь Н. К. Михайловский из плеяды «Отечественных Записок» вместе с публицистом другого, менее влиятельного, органа семидесятников, Н. В. Шелгуновым, продол-

жают, по мере сил, бороться с надвигающейся идейной реакцией, почти никем не поддерживаемые и вынужденные держаться на чисто-оборонительной позиции. Народнический радикализм в их лице не только почти отказывается от боевой пропаганды своих идеалов, но и прекращает непосредственную литературную борьбу с контр-революционными победителями, предоставляя вести ее умеренно-либеральному лагерю (в эти годы особенное влияние и значение приобретает либеральный «Вестник Европы» во главе с К. Арсеньевым и А. Пыпиным); публицистика Михайловского и Шелгунова, даже когда она занимается правительством и реакционными группами, имеет всегда в виду настроения самого демократического читателя и старается поддержать в нем престиж и обаяние старых традиций. Такая оборонительная позиция диктуется им не только заметным отливом симпатий к идеологии 70-х годов, но и внутренним бессилием самого радикального народничества давать действенные лозунги в эпоху безвременья.

В своей массе общество погрузилось в политическую спячку и с равнодушием, а то и с озлоблением, относилось ко всяким напоминаниям о гражданском долге. Расцветают обывательский мелкий индивидуализм, заботы о личном благополучии в данных неизменных общественных условиях. Общество аполитизируется, чувство и сознание социальной, гражданской связи атрофируется.

Этот обывательский индивидуализм находит свое непосредственное выражение в идеологии эпохи. С одной стороны, выступает на сцену культ «малых дел», с другой — пропаганда личного самоусовершенствования в противовес идее общественной борьбы; в то же время в области художественной критики громко заявляет о себе теория «чистого искусства».

Идеология личного самоусовершенствования, нашедшая свое наиболее законченное выражение в *толстовстве*, не порывает всецело связи с идеологией предыдущей эпохи. Напротив, в толстовстве заметно получают развитие отдельные элементы, в другом сочетании входившие в народническую идеологию. Самая критика современного общества, дававшаяся Львом Толстым еще в 60-х и 70-х годах, во многих пунктах совпадала с критикой того же общества у Н. К. Михайловского: в его публицистических статьях мы находим и отрицание современного разделения труда, и столь обычное у Михайловского конструирование противоречия между «интересами нации» и «интересами народа» (или трудящихся классов) и противопоставление цельного типа земледельца искалеченным цивилизацией типам горожан. В основе

социологии Л. Толстого (поскольку можно говорить о ней) лежит то же понятие «личности», как и у Михайловского и Лаврова. В самом *аполитицизме* толстовцев не трудно найти отголосок переживаний более ранней эпохи. Наконец, практически «толстовцы» тоже по-своему звали «итти в народ», сливаться с крестьянской массой или растворяться «в сером сермяжном море», как некогда говорил Михайловский о революционерах-народниках.

Но в толстовстве индивидуалистические моменты передовой идеологии 70-х годов, получив гипертрофированное развитие, совершенно заглушили всякую социальную идею, всякое социальное чувство. Если, по словам того же Н. К. Михайловского, народник начинал с вопроса, «как мне жить свято?», то в конце-концов он приходил к ответу, упразднявшему проблему усовершенствования, как самодовлеющую задачу, и растворял вопрос об идеальной личной жизни в вопросе о коренном изменении противоречащей идеалу жизни социальной. Толстовство же 80-х годов, исходя из банкротства попыток воздействия на социальные отношения, возвращалось к исходному пункту этического движения 60-х и 70-х годов, чтобы задачу личного усовершенствования резко противопоставить борьбе с общественным строем. Социологическая санкция того разрыва с господствующим привилегированным меньшинством, которую давало народничество и которая ставила его в резко оппозиционное отношение к государству, заменялась у порывавших с «цивилизацией» толстовцев санкцией этико-религиозной, которая лишала всякой остроты взаимные отношения между отрицаемыми государством и обществом, с одной стороны, и отрицающими учениками Льва Толстого, с другой. Если позднее эти отношения и приняли более резкие формы, и православный клерикализм и полицейское государство обрушились репрессиями на толстовцев (отказы от воинской повинности и т. д.), то это имело место лишь после того, как некоторый общественный под'ем следующего десятилетия начал вкладывать в самую антисоциальную форму толстовского сектантства известное социально-политическое содержание. В этом смысле борьба с церковной традицией, с «казенным православием», которую вел Толстой и некоторые из его учеников, сближала их с известными слоями народной массы, еще абсолютно не созревшими для постановки социальных проблем в их неприкрытом виде и искавшими в учениях получивших в 80-х годах сильное развитие рационалистических сект ответа на те же самые социальные вопросы, закутанные в мистико-религиозную форму. Прямое сближение отдельных интеллигентов-толстовцев со штундистами, пашковцами и

другими сектантами, знаменовало собою первое вторжение интеллигентской мысли в замкнутый мир народного идеологического творчества, и на результатах этого творчества в ближайшую эпоху это сближение заметно сказалось.

Следует отметить, что такое же сближение толстовцев с сектантами из *городских рабочих* кое-где служило одним из ферментов непрекращавшегося вовсе в течение 80-х годов брожения, характерного для передовых слоев этого класса. Кружки и братства рабочих пашковцев и штундистов временами оставались единственной формой тесного взаимного общения, доступной городским рабочим и дававшей им возможность преследовать некоторые культурно-просветительные задачи, как распространение грамотности и дешевых книг, борьба с алкоголизмом и т. д. Поэтому к этим кружкам, в которых действовали интеллигенты-толстовцы, местами естественно тяготели вообще пробудившиеся к осмысленной жизни единицы-пролетарии, позднее нашедшие выход своим стремлениям в учениях другого типа.

Довольно многочисленные земледельческие колонии, основывавшиеся толстовцами, в большинстве случаев скоро разлагались, как только естественно охладевал первоначальный энтузиазм их основателей. Но для таких попыток приложения на практике учения об «опрощении» в сравнительно крупных размерах дело доходило довольно редко: в большинстве случаев пропагандисты-толстовцы ограничивались этическою проповедью среди интеллигентов. Об'ективный смысл этой проповеди, в центре которой стоял тезис о непротивлении злу насилием, сводился в эпоху 80-х годов к пассивному примирению с политической действительностью. Поскольку толстовская пропаганда шла навстречу определенным настроениям усталого общества, ее этический идеализм, отвергающий всякие земные авторитеты, всякую общественную или классовую санкцию морали, удовлетворял интеллигенцию, которая разочаровалась в авторитетах социальной науки и которая подводила в своем сознании итоги своему разочарованию в народе.

Но другая сторона толстовства — именно та его сторона, которая непосредственно примыкала к идейной традиции народничества, лишь односторонне развивая ее, и заключалась в протесте против современной буржуазной культуры, в *восстании против города* и городского уклада жизни, — должна была натолкнуться на психологическое противодействие той общественной среды, которая была захвачена влиянием индивидуалистической проповеди. Неудержимо происходивший в течение пореформенной эпохи процесс роста городов и формирования типа горожанина достиг в середине

80-х годов заметного развития. «Культурный класс», еще в 60-х и 70-х г.г. в значительной мере сельский по происхождению и поддерживавший бытовую связь «с землей», теперь, в эпоху, когда последние «убежища Монрепо» беспощадно ликвидировались Колупаевыми и Разуваевыми, принимал все более городское обличье и окружался широкой периферией полукультурного слоя, типичного для больших городов. Характерное для времени общественного развала и деморализации одностороннее развитие именно внешних, казовых сторон городской буржуазной культуры с ее бездушием и безвкусием, с ее царством мелочей и условностей, с ее психологической опустошенностью и деловой нервностью вызывало в интеллигенции потребность в обличении того типа, какое давалось Толстым. В этом пункте русский интеллигент находил точки соприкосновения с западно-европейской интеллигенцией, душа которой, измученная противоречиями и сложностью городской культуры, отдыхала на сурово «мужицкой» проповеди отречения, доносившейся из Ясной Поляны. Но тогда, как интеллигенция передовых стран, взявшая уже все от современной культуры и после краха всех возможных иллюзий подошедшая вплотную к полному безверию по отношению к ней, в толстовско-крестьянском анархизме получала лишь последний импульс для перехода к абсолютному скепсису или к революционному разрыву с буржуазным обществом, — русская прогрессивная интеллигенция, несмотря на ощущаемую ею тягость некоторых противоречий буржуазной культуры, об'ективно только еще начинала втягиваться в ее сферу и соответственно, против своей воли и вопреки идейным традициям, только начинала испытывать обаяние материальной культуры города и, так сказать, первичных низших продуктов его духовной культуры. Глеб Успенский в самом начале 80-х г.г. подметил неизбежный результат крушения революционного движения, каким явилось это стихийное увлечение низшей стороной городской духовной культуры, когда в бессмертном очерке «Наконец, нашли виноватого» изобразил рядового интеллигента протестующим против постоянного напоминания о «мужике» и провозглашающим: «довольно, пора и нам». И получившая возможность, если можно так выразиться, спокойно «переваривать» городскую культуру, интеллигенция охотно слушала толстовские обличения противоречий этой культуры, поскольку они, благодаря общему пассивному духу толстовства, не обязывали к разрыву с ней в жизни и в то же время отвечали чувству неудовлетворенности, осадок которой в эпоху безнадежности оставался у интеллигента среди шума и чада буржуазной житейской суеты;

но, слушая их, она не делала никаких революционных выводов из этих обличений, и толстовство, как особое направление общественной мысли, было обречено иметь тесный круг действительных адептов, оставаться сектой.

Литература, непосредственно отражавшая этот процесс усвоения городской культуры интеллигентной и полуинтеллигентной толпой, написала на своем знамени «реабилитацию действительности». Во имя реабилитации, пропитанной крепостническими пережитками буржуазной действительности, она восставала против того духа отрицания, который наложил печать на всю литературу и жизнь пореформенной интеллигенции. В своей публицистике «восьмидесятник» протестовал против демократического и революционного народничества, призывавшего интеллигенцию уплатить долг народу и ставившего ребром вопрос о коренной ломке сложившегося в пореформенную эпоху уклада жизни. Это был бунт мещанской культурной толпы против идеологов, поставивших перед нею непосильную задачу. И в то же время это был последний вывод из самоликвидации народничества, начавшего с притязаний выразить собою стихию деревенской, крестьянской России и кончившего, в лице Гл. Успенского, горьким признанием, что подлинный народ кричит демократической интеллигенции «не суйся», и, в лице писателей «Народной Воли», — не менее горьким утверждением, что «работать в народе — то же, что биться об лед». Вывод восьмидесятников был, разумеется, окрашен преобладающим реакционным настроением эпохи; но сущность его не так уже далеко отходила ни от идеологии эпигонов народничества, призывавших спасать саморазлагающуюся общину благожелательным воздействием извне, ни от умонастроения эмигрантов, строивших в то время программы освобождения страны помимо всякого участия народа. Если всем идейным течениям восьмидесятых годов присуща, как характерная черта, эта «безнародность» (выражение А. Н. Потресова), то типическое «восьмидесятничество», свившее себе гнездо в «Неделе» и прославлявшее культурное значение «малых дел», выражает собою особенно сильно своего рода реакцию города против деревни, господствовавшей над умами в течение 60-х и 70-х г.г. Горожанин — культурный мещанин — ставил себя в центре общественного бытия, констатировал свое — социальной отсталостью страны обусловленное — бессилие поставить на очередь какие-либо общие задачи, разрешение которых изменило бы общие условия его существования; постольку он был «аполитичен», противопоставлял идеализму политической борьбы трезвый реализм «малых дел»; но он в то же время ощущал под ногами укрепляю-

щуюся почву своей культуры и буржуазного городского хозяйства, на которой слагается последняя, и постольку он «реабилитировал» против представителей революционной эпохи ту действительность, которая ему оставляла на ближайший период только весьма относительную свободу заниматься «малыми делами».

Народная перепись 1897 года зарегистрировала чрезвычайный, иногда почти американский, рост городского населения со времени переписи 1885 года. Этот же период был, несмотря на усиленно проводившуюся дворянскую политику, периодом мирной ликвидации значительной части поместного землевладения и продолжающейся эмиграции дворянства в города. Несмотря на все реакционные меры, специально направленные против высшего образования, количество учащихся в высших учебных заведениях неудержимо росло. Несмотря на бюрократизацию земства и его заполнение реакционными элементами дворянства, множилась, в силу потребностей хозяйственного развития, земская интеллигенция, образуя в городских центрах земледельческих районов культурные, по-своему влиятельные в местной жизни, очаги.

Плоский и бескрылый мещанский либерализм «восьмидесятников» и был первичной формой самосознания интеллигентской массы, которая, как общественный слой, занимавший все более прочное место в буржуазном строе, перерастала идеологию и психологию интеллигентского «отщепенства» 60-х и 70-х г.г. Но эта была именно первичная форма, притом, насквозь пропитанная реакционными настроениями, навеянными разгромом освободительного движения. Поэтому не в этой форме и не через нее мог осуществиться неизбежный переход от народничества к идеологии и движению, в которых нашли бы свое выражение ее определявшиеся общественные интересы. Любопытно отметить, что русская идеология «малых дел» имела точки сопрокосновения с той идеологией «органической работы», которая в предыдущее десятилетие овладела умами польской интеллигенции и явилась точно так же индивидуалистической реакцией на разгром социально-политической романтики. Но было и существенное отличие. Идеология «органической работы», развиваясь в стране, переживавшей быструю ломку экономических отношений и быстрым темпом идущий процесс «обуржуазивания» имущих классов, складывалась под влиянием этих последних, быстро приняла характер откровенной идеализации капитализма и, служа развитию последнего, имела в известных, довольно тесных, пределах прогрессивно-культурное значение. Увлечение ею наложило, поэтому, сильный отпечаток и на польскую науку и на искусство.

Не то в России. Формулированная в период вялого развития экономической жизни, не выражая собою непосредственно потребностей становящегося во главе этой жизни класса, идеология «малых дел» не могла подняться до цельной системы, ее влияние на умы должно было слабеть по мере отхода от впечатлений вызвавшего ее к жизни кризиса, и потребности экономического развития суждено было выразить той идеологии, которая в следующем десятилетии пришла ей на смену.

«Восьмидесятники» заявляли (устами В. Розанова) о своем «отказе от наследства» 60-х и 70-х г.г. Этот отказ распространялся не только на общественные идеалы, но и на философию и искусство. В области философии 80-е годы были временем реакции против материализма и позитивизма. Поколение, внимавшее деистической пропаганде Толстого, с сочувствием отнеслось к антиматериалистической философии Владимира Соловьева, освистанного в свое время семидесятниками. Проникнутое определенными общественными тенденциями искусство 60-х и 70-х годов психологически должно было быть чуждо тому поколению, над которым, по выражению публициста «Недели», были «бессильны идеалы отцов и дедов». Протест против *этой* тенденции искусства пореформенной эпохи нашел свое выражение в проповеди «искусства для искусства» (А. Волынский, С. Андреевский и др.). Последнее, конечно, было не менее детищем своей эпохи и своей общественной среды и в этом смысле не менее «тенденциозным», чем искусство предыдущих десятилетий. Но его «формула» выражала собою тот факт, что горожанин нуждается уже в *собственном* искусстве, которое отражало бы его собственные чувства и его жизнь, служило бы его потребностям и никаким иным, извне навязанным задачам. Вместе с тем, упадок влияния литературных тенденций 60-х и 70-х годов вполне соответствовал характеру развития буржуазной культуры, стремящейся к дифференцированию отдельных сфер идеологии, к созданию для каждой из них своего, более или менее замкнутого, духовного мира.

Возрастание значения города в общественной жизни очень рельефно сказалось на судьбе *реакционной* идеологии в 80-е годы. Если правительственная реакция, написав на своем знамени сохранение сословного строя, в то же время в эти именно годы усиленно покровительствует капиталистической городской промышленности, то реакционная идеология, в свою очередь, вынуждена черпать новые элементы для своего питания в условиях развития городской культуры. Дворянский консерватизм князя Мещерского, откровенно

пропагандирующего крепостное право, не может завоевать сколько-нибудь широкого влияния. Напротив, типичный реакционной идеологией 80-х годов становится *антисемитизм*, вытесняющий старые формы воинствующего национализма (славянофильство) и, несомненно, пользующийся самостоятельным общественным значением в то время, как ортодоксальная реакция Каткова и «Московских Ведомостей» лишь служит выражением интересов тех или иных сфер бюрократии. Но антисемитизм зарождается в условиях городской культуры, в атмосфере ожесточенной конкуренции буржуазного общества и, как бы ни пропитывался реакционными тенденциями иного происхождения и как бы охотно ни служил реакционным интересам иных общественных групп, остается, по основному своему содержанию, мещанской идеологией. Распространение этой идеологии в течение 80-х годов в полуинтеллигентской городской толпе было, поэтому, симптомом той же эволюции, о которой свидетельствовал отказ от народнического наследства толпы интеллигентской. «Новое Время» А. Суворина и «Неделя» Гайдебурова являются в этом смысле одинаково типичными продуктами эпохи безвременья.

II.

Политическая и общественная реакция, казалось, достигла своего апогея. При полном равнодушии населения бюрократия одну за другой упраздняла или до неузнаваемости исказила все те полуреформы 60-х годов, которые вносили элементы европеизма в русский государственный строй. Государственное хозяйство вышло из острого кризиса, переживавшегося им в середине 80-х годов, а крупные успехи русской дипломатии, приведшие к заключению франко-русского союза, вновь окружили самодержавную Россию ореолом вершительницы судеб Европы. Один за другим сходили в могилу наиболее яркие представители русской демократии: в период 1888—1892 г.г. она схоронила Чернышевского, Щедрина, Елисеева, Шелгунова, Каронина. Среди реакционной вакханалии крепостников, добившихся учреждения института «земских начальников» и требовавших дальнейших мер обуздания мужика, и националистов, призывавших все к новым мероприятиям против инородцев, робко раздавались немногие либеральные и радикальные голоса в печати и в земстве, проникнутые скепцитизмом и неверием в собственные силы. Признаков перелома не было видно.

И, однако, он вскоре наступил. Торжествующей реакции нанесен был удар там, где она всего менее ожидала — в задавленной деревне.

Повальный голод, к которому фатально вело оскудение крестьянства черноземной России в течение двух десятилетий, разоблачил непрочность достигнутых правительством «порядка» и «успокоения».

Ближайшим образом голод 1891 — 1892 г.г. и сопровождавшие его холерные эпидемии обнаружили беспомощность бюрократии и ее злостное отношение к нуждам народа. «Борьба с голодом» с самого начала обратилась в «борьбу с голодающими», борьбу за сокрытие и за преуменьшение народного бедствия, борьбу с общественной инициативой в деле помощи пострадавшим. Подцензурная печать получила красноречивый материал для своих обличений. В местном самоуправлении прогрессивные группы земцев и «третьего элемента» на земской службе, вместе с наехавшими в деревню «отрядами» для организации помощи голодающим, сплачивались в борьбе за право кормить голодных и кричать обществу о размерах бедствия. Растерянность бюрократии, в конце-концов вынужденной дать хотя бы некоторый простор общественной самодеятельности в этой области, ослабила в обществе впечатление той неограниченной мощи, которою правительство Александра III во второй половине 80-х годов импонировало даже своим противникам.

Если, таким образом, годы голодовок и холерных эпидемий, с одной стороны, «развязали» скованные в течение предыдущего десятилетия общественные инстинкты, а с другой — положили начало освобождению общества от чувства полного бессилия перед господствующим режимом, то в то же время они произвели перелом в самом мировоззрении активных кругов интеллигенции.

Они прежде всего дали толчок новому под'ему *самосознания интеллигенции*, как самостоятельной общественной группы. Восьмидесятые годы, следовавшие за разгромом движения интеллигенции, характеризуются громадным ростом влияния бюрократии, бунтом обывательщины против обанкротившихся идеологов, появлением на общественной арене представителей капитала. Идеология интеллигенции либерального и демократического лагеря отражает эту полосу развития в самоуничижительных теориях малых дел, культурного крохоборства и непротивления злу. В годину народных бедствий интеллигенция познает свое об'ективное значение в общественной жизни, свою необходимость для хозяйственного и общественного прогресса. Связь крестьянских голодовок с крестьянской некультурностью и с ничтожным

влиянием интеллигенции на жизнь деревни бросалась в глаза; было ясно, что современное государство, продолжая свою борьбу с интеллигенцией, обрекает себя на постоянное повторение кризиса, что имущие классы вынуждены считаться с интеллигенцией, если хотят выйти из тупика, в который попало народное хозяйство благодаря культурному застою. Холерные эпидемии с сопровождавшими их кровавыми беспорядками еще более должны были закрепить это впечатление.

Но те же события — голод и холера — еще более ярко показали интеллигенции культурную беспомощность, темноту и косность крестьянских масс. Тем самым значение крестьянства, как активного фактора общественной эволюции, все еще по традиции признававшееся левыми элементами общества, окончательно померкло в их глазах. В различной форме этот опыт «голодного года» сказался в идеологии всех течений общественной мысли, проявлявшихся в новом десятилетии.

Вышеотмеченный под'ем самосознания интеллигенции отнюдь не вел к восстановлению идеологии 70-х годов, в которой интеллигенция, отождествляя свои стремления с интересами народа, резко противопоставляла себя имущему «обществу» и «отщеплялась» от него. Напротив. Если уже в период «Народной Воли» передовые группы демократической интеллигенции на момент почувствовали себя выражающими жгучие потребности всех европейских элементов имущего общества, то в течение 80-х годов в местном самоуправлении происходило постепенное сближение демократического «третьего элемента» с либеральной частью поместного класса на почве совместного отстаивания интересов культуры и элементарных условий гражданственности против реакционной бюрократии. Это сближение нашло свое выражение в известном взаимоприспособлении либеральной и демократической идеологий, приведшем к усвоению первою некоторых элементов народничества и к примирению последней с буржуазно-конституционалистскими тенденциями либерализма. Социальной базой такого сближения являлся нараставший в течение 80-х годов экономический антагонизм между покровительствуемым промышленным капитализмом и оскудевающим землевладением, создавший видимость общих интересов между последним и крестьянством. Катастрофа 1891 — 1892 г.г. могла только закрепить сближение между землевладельческим либерализмом и демократической интеллигенцией.

В подцензурной литературе происшедший перелом сказался в двух направлениях. Основанная Пороховщиковым

«Русская Жизнь» пыталась внести некоторые радикальные и демократические ноты в обычную либеральную пропаганду. С другой стороны, рассеянные в течение 80-х годов народнические элементы собрались в «Русском Богатстве».

Прошедшее через полосу реакции и опыт голодного года, это народничество, представленное С. Южаковым, С. Кривенко, В. Воронцовым и имевшее за собою поддержку, с одной стороны, Н. К. Михайловского, с другой — таких экономистов, как Николай-он, Яроцкий, Карышев, всецело носило на себе печать того разочарования в способности крестьянства к активному движению, которое после 1891 — 1892 г.г. стало общим для всей интеллигенции. Его основным мотивом являлось доказательство несостоятельности капиталистического развития, которым шла Россия со времени 60-х г.г., и бессилия капитализма развить производительные силы страны. Такова была теза, защищавшаяся в появившемся в 1893 г. труде Николай-она «Очерки пореформенного хозяйства», произведшем сильное впечатление своей попыткой, исходя из экономической теории Маркса, доказать искусственность русского промышленного капитализма и его обреченность на самопожирание, в виду разрушения им собственного внутреннего рынка. Вывод из построений Николай-она, констатировавшего массовую пауперизацию крестьянства и грандиозное разрушение производительных сил деревни, мог быть лишь двоякий: либо революционное вмешательство для приостановки этого губительного процесса, покровительствуемого властью, либо инициатива этой самой власти, переход ее на сторону крестьянского хозяйства против капитализма и начатие ею эры народнического государственного социализма. Тенденция государственного социализма заметна у самого Николай-она и у некоторых сотрудников «Русского Богатства (Карышева, Яроцкого). Но радикализм мысли, требовавшийся для столь категорического вывода—в сторону ли революции снизу или революции сверху, все равно — и отвергавший всякие паллиативы, как ни к чему не ведущие при неизменности общего направления экономической политики, не мог быть усвоен сколько-нибудь широкими кругами интеллигенции уже потому, что поставил бы их в непримиримый антагонизм с либеральным обществом. Катастрофический прогноз Николая-она поэтому в значительной мере ослаблялся у В. В., Кривенко, Карышева, которые дополняли его схему учением о продолжающейся и развивающейся борьбе «двух экономических типов» в русском народном хозяйстве, о способности сельской общины, артели и кустарных промыслов сопротивляться разлагающему влиянию капитализма, о необходимости лишь извест-

ной помощи извне, чтобы образовать прочную экономическую базу для развития всего народного хозяйства в антикапиталистическом направлении. Практической программой народничества, таким образом, становилось: помощь со стороны земства и интеллигенции общине, артельным предприятиям и кустарному производству и воздействие общественного мнения на правительство в целях усвоения им нового курса финансовой и экономической политики. Если последним пунктом программы народничество вплотную подходило к аграрно-бюрократическому умеренному либерализму, который под влиянием голода все настойчивее требовал от правительства экономических мер для поддержания падающего крестьянского хозяйства, то своей пропагандой самодеятельности интеллигенции в области поддержки «народного производства» народничество «Русского Богатства» шло в разрез с возраставшим стремлением к концентрации общественной энергии, с новым под'емом интереса к *политике*. Пропаганда «артельных начинаний» и других экономических паллиативов черезчур явно носила на себе следы идеологии «малых дел» предыдущего десятилетия и при повальном разочаровании в активности самого крестьянства черезчур была пропитана духом бюрократической опеки, чтобы увлечь массы интеллигенции, в которых пробуждались гражданские запросы. Первые годы после голода еще характеризуются довольно многочисленными попытками организации кустарей, устройства артелей и культурных начинаний в крестьянском хозяйстве, — попытками, частью осуществляемыми при помощи прогрессивных земств. Но увлечение этими попытками вскоре же падает по мере того, как их паллиативность, ничтожная продуктивность при существующем строе и внутренняя противоречивость, как средства «борьбы с капитализмом», разоблачаются практикой и публицистической критикой [1]). Между тем аполитический и оппортюнистический по отношению к власти характер этой народнической пропаганды отталкивает от нее молодое поколение интеллигенции и вынуждает в конце-концов Н. К. Михайловского, Анненского и других «семидесятников» порвать с В. В. и Кривенко и отмежеваться от них. Этому размежеванию не в малой степени способствовала впервые заговорившая в подцензурной печати *марксистская* критика. Народническая группа совершенно устраняла из своей пропаганды *политический* вопрос, вопрос о государственном строе, несостоятельность которого так резко обнаружилась

[1]) См. об этом статью А. Потресова „Артельная эпопея" в сборнике „Этюды о русской интеллигенции".

в годы народных бедствий, или, что еще хуже, она ставила под сомнение возможность примирить реформаторские стремления в этой области с заботами об экономическом благе крестьянства: такая тенденция, например, ярко сказалась в очерках В. Воронцова («Попытки обоснования народничества», 1892—1893 г.г.). Эта аполитическая тенденция менее всего соответствовала настроению пробуждавшейся от апатии 80-х годов интеллигенции. И в зарубежной печати, и в интеллигентских кружках в самой России голодный год вызвал к жизни течения противоположного характера, стремившиеся вопросу о политической борьбе подчинить все остальные вопросы и притом сделать это на почве той новой группировки общественных сил, которая лишила интеллигенцию ее «отщепенского» характера и устранила прежнюю ее изолированность.

Союз прогрессивной части имущих с демократической интеллигенцией, союз «либералов и социалистов» для борьбы за политическую реформу — под этим знаменем пытались радикальные элементы начала 90-х годов вновь сплотиться в активную общественную силу.

Этот лозунг был логическим продолжением и развитием тех тенденций, которые с самого начала 80-х годов проявлялись в писаниях М. Драгоманова, В. Дебогория-Мокриевича, В. Бурцева и других, требовавших от социалистов отказа от своей политической изоляции и решительного перехода на позицию передового отряда либерального общества. Это был в своем роде об'ективно-логический вывод из того положения, в котором, в лице народовольчества, очутилось революционное народничество, когда, отказавшись от крестьянской революции и сосредоточившись на политической борьбе, оказалось ведущим за собой земско-либеральное движение. Поскольку это об'ективное положение народовольцев шло в разрез с их суб'ективной теорией, с их надеждами с помощью «захвата власти» и созыва учредительного собрания (которое им представлялось в большинстве крестьянским) вырвать плоды победы из либеральных рук, постольку пропаганда политического союза между либералами и социалистами велась в 80-х г.г. вышеназванными писателями в борьбе с народовольчеством и в тоне обличения его социально-революционных тенденций. Теперь, при наличности под'ема самосознания интеллигенции, та же идея освобождалась от этого покрова: заметно встрепенувшемуся и уже оправившемуся от испуга перед революцией «обществу» революционеры предлагали открытый союз во имя ближайших целей, не отрекаясь ни от своих социалистических симпатий, ни от свойственных им специфических методов борьбы. В таком духе писал Степняк-Крав-

чинский в вышедшей в 1892 г. брошюре «Что нам нужно и начало конца», в том же духе велись «Летучие Листки», появлявшиеся в Лондоне при участии Н. Чайковского, Л. Шишко, Ф. Волховского. Той же тенденцией была проникнута возникшая в России довольно обширная организация «Народного Права», собравшая в своих рядах (1892—1894 г.г.) вернувшихся из ссылки революционеров 70-х г.г. (М. Натансон, Н. Тютчев, Аптекман и мн. другие) и более молодых представителей рассеянного в провинции третьего элемента, равно как некоторых столичных литераторов.

Доказывая, что либералы и революционеры в одиночку бессильны в борьбе со старым порядком, Степняк апеллировал к «общему внеклассовому чувству гражданской солидарности» и убеждал либералов не смущаться союзом с социалистами, а последних — не бояться скомпрометировать себя умеренностью требований и методов борьбы своих союзников.

Для Степняка только революционно-настроенная интеллигенция и либеральное «общество» представляют силы, способные бороться за политическую реформу. Народные массы из его расчета всецело выкидываются. «Покамест наше движение является *исключительно городским*, опирающимся на городские элементы, частью на рабочих, но преимущественно на интеллигенцию, на учащуюся молодежь, на образованный класс вообще», который «после крестьянства, несомненно, сильнейший в государстве», ибо он «командует армией и флотом... занимает все видные места и исправляет важнейшие общественные функции, владеет прессой, сидит в земстве и думах, занимает университетские кафедры». Рабочие могут быть лишь «подспорьем» в борьбе в виду их малочисленности. Поэтому, активные радикальные элементы должны все силы направить на организацию движения «образованного класса» и целью этого движения поставить конституционную реформу.

В программной брошюре, выпущенной партией «Народного Права» («Насущный вопрос» А. И. Богдановича) и в «Манифесте» этой партии точно также речь идет о необходимости воздействия радикальных элементов на вялое и политически незрелое «общество» и вовлечения его в энергичную борьбу под конституционным знаменем. Если уже Степняк в своей брошюре протестует против допущения, что для социалистов вопрос о необходимости политической свободы может быть поставлен под сомнение, с точки зрения ее вредоносности для народных масс, то автор «Насущного вопроса» вплотную подходит к предрассудкам легальной народнической группы и решительно протестует против ее оппорту-

низма, готового отказаться от политической борьбы во имя иллюзии народного благосостояния, насаждаемого земскими начальниками [1]). И Степняк, и Богданович не дают ответа на тот основной теоретический вопрос, в который уперлась демократическая мысль в начале предыдущего 10-летия — на вопрос о направлении экономического развития России и на соответствие этому направлению политических desiderata демократической интеллигенции. И «народоправцы», и эмигранты, разделявшие умонастроение Степняка, думали, что начинавший проявляться общественный под'ем создаст возможность демократической мобилизации методом, так сказать, политического эмпиризма в ходе непосредственной борьбы всех теснимых режимом общественных групп. На деле перескочить через этот вопрос демократическая интеллигенция не могла. Теоретическая пропаганда, ведшаяся в течение 80-х годов Г. В. Плехановым и всей Группой «Освобождения Труда», поставила вопросы этого порядка ребром и создала среди массы интеллигенции полные прозелитического рвения кружки марксистов. С другой стороны, народническая группа при первых признаках оживления подняла перчатку, брошенную ей марксизмом, и пыталась теоретически реставрировать учение о самобытном пути развития. И в то же время интенсивность оживления в обществе оказалась слишком слабой, чтобы самым его фактом могли увлечься интеллигентские массы. Это быстро сказалось, когда перемена царствования, происшедшая в конце 1894 года, дала повод организованным элементам либерализма начать кампанию ходатайств. Очень бледные по содержанию, эти ходатайства тотчас же прекратились после известного ответа монарха, успев вызвать во внеземских прогрессивных кругах лишь очень слабое эхо (заявление литераторов о положении печати). Наступивший в то же время под'ем промышленности, достигший в следующие годы небывалого оживления, изменил на первое время всю перспективу, рисовавшуюся в 1891—1892 г.г., вновь несколько ослабил интерес к политическим вопросам и выдвинул на общественную арену новую силу — рабочий класс, заполнивший пятилетие 1894 — 1899 г.г. шумом своих стачек.

Начавшиеся стихийно, как непосредственная реакция на промышленное оживление, сделавшее более достижимыми улучшения в положении рабочих, эти стачки вскоре же принимают относительно планомерный и организованный харак-

---

[1]) Брошюра „Насущный вопрос", написанная, как выше указано, А. И. Богдановичем, позднейшим критиком „Мира Божьего", была предварительно просмотрена Н. К. Михайловским.

тер, поскольку в них принимают активное участие связанные с передовыми рабочими группы марксистов, к середине десятилетия имевшиеся уже в большинстве крупных городских центров. Этот организованный и культурный характер рабочего движения произвел сильное впечатление на общество и заставил его изменить свое традиционное отношение к общественному значению «низших» классов.

В апреле 1895 года на первую стачечную волну правительство ответило применением военной силы против забастовщиков (действия фанагорийского полка в Ярославле); в следующем году по поводу всеобщей стачки ткачей в Петербурге правительство впервые после десятилетней практики молчания о проявлениях «крамолы» сообщило обществу в официальном разъяснении о деятельности социал-демократического «Союза Борьбы»; через год изданием закона 2-го июня 1897 г. о продолжительности рабочего дня оно признало, что брожение рабочих имеет под собой реальное основание в чрезмерной эксплоатации, а в ближайшие затем годы, инсценировав «зубатовскую политику», оно показало всем, что рабочее движение, еще носившее преимущественно профессиональный характер, является серьезной угрозой старому режиму.

Эта цепь фактов шла в разрез со всеми традиционными представлениями подавляющего большинства прогрессивных элементов о роли и значении отдельных общественных классов и характере общественной эволюции России в целом. И народничествующий либерализм, и народничество (умеренное и радикальное) не знали, как реагировать на эту новую полосу в русской жизни. Немудренно, поэтому, что теоретическая критика марксизма, прежде интересовавшая только отдельные единицы, теперь вызвала к себе общее внимание. После того, как в статьях В. Воронцова и Н. К. Михайловского (1892 — 1893 г.г.) марксизм был указан интеллигенции в качестве врага, написавшего на своем знамени разрыв с крестьянофильской традицией и примирение с капитализмом, с 1894 года появляется ряд литературных произведений П. Б. Струве, М. Туган-Барановского и других молодых марксистов, посвященных анализу теоретических, социологических и экономических предпосылок народничества во всех его разновидностях и пропаганде исторического материализма в его применении к русской действительности.

Хотя Струве, Туган-Барановский и их единомышленники и внесли в свою борьбу с народничеством не мало самостоятельного труда, но все существенное, ими выставленное против основных экономических и социологических концепций народничества, являлось лишь популяризацией идей, выска-

занных Г. В. Плехановым в борьбе с эпигонами революционного народничества семидесятых годов, и дальнейшим применением его критического метода. Но политический тон этой новой марксистской публицистики был несколько иной, и в проявившемся различении явственно сказалось то непредвидевшееся Плехановым значение, которое суждено было марксизму приобрести в России.

Как указывал сам Плеханов еще в своих первых произведениях, он и его товарищи по революционному народничеству пришли к социал-демократизму, убедившись в том, что *социальная эмансипация* трудящихся масс России возможна, во-первых, лишь на пути развития капитализма, во-вторых, лишь как результат классовой борьбы пролетариата с буржуазией. Тем самым отвергались обе основные теоретические посылки всего народничества — учение об особом пути русского экономического развития и учение о крестьянине-общиннике, как о борце за идеал социального будущего; вместе с тем, проблема политической эмансипации русского гражданина, выдвинутая народовольцами, становилась неизбежным этапом на пути, ведущем к социальной эмансипации трудящихся. Эта социальная эмансипация оставалась исходной точкой всего умственного процесса, приведшего первых марксистов к новой постановке практических задач освободительного движения, и регулирующей идеей для всех программных и тактических построений. Недаром Плеханов и Аксельрод всегда подчеркивали свою верность основной традиции классического народничества — подчинения всех частных интересов «общества», «нации», «личности». гражданина, основному интересу — освобождения труда, и лишь настаивали на том, что антагонизм между интересами того и другого порядка, неустранимый в народничестве, гармонически разрешается в марксизме.

Демократическое поколение интеллигенции, выступавшее на сцену и формулировавшее свое мировоззрение к середине 90-х годов, в своих построениях исходило из другого отправного пункта. И вопрос о направлении экономического развития России, и вопрос о социальных потенциях, заложенных в русском крестьянине, продолжали к началу 90-х годов занимать интеллигентскую демократию и оставаться для большинства ее не решенными. Но эти теоретические вопросы вставали перед этой демократией в свете совсем иного *политического* вопроса. Поднявшееся социальное самосознание интеллигенции, возбужденное борьбой народовольцев и питавшееся все более очевидной ее необходимостью для того государства, которое осуждало ее на бесправие и гонения, выдвигало перед ней на первую очередь вопрос об ее собствен-

ной гражданской эмансипации, а проблема экономического развития страны и роли, которая выпадает на долю различных классов, интересовали ее именно постольку, поскольку выясняли шансы и условия этой ее эмансипации. Если для Плеханова и Аксельрода, как и для народников 70-х годов, политическая реформа рассматривалась с точки зрения средства к достижению дальнейших целей, то мысли поколения 90-х годов вполне выражал Степняк, когда в брошюре «Что нам нужно» горячо протестовал против предположения, что гражданская и политическая свобода может рассматриваться не как благо само по себе, а как средство для социалистических целей.

Соответственно этому умонастроению зашевелившихся интеллигентских масс литературные представители новой марксистской группы (во главе с П. Струве) в своих первых произведениях выступают прежде всего как *защитники* русского капитализма от народнических обличений и как *обличители* некапиталистических экономических отношений, идеализируемых народничеством. Они доказывают прогрессивность капиталистического развития и убожество, неспособность к развитию и невыгодность для самих трудящихся отсталых форм производства. Они подчеркивают неизбежную связь политического прогресса с экономическим развитием и необходимость апеллировать к последнему для тех, кто добивается политического прогресса.

Эта критика ведется ими во имя социологической и экономической теории марксизма, который, являясь прямым наследником и продолжателем классической политической экономии, углубил дававшееся последней теоретическое оправдание капитализма в его борьбе с докапиталистическими формами хозяйства. Но марксизм не остановился на этом оправдании, он одновременно дает и оправдание *борьбе* с капитализмом за еще высшую ступень экономического развития. По одному этому его оправдание капитализма лишено и тени апологетизма. Его тесная связь с определенным классовым движением придает его защите капитализма против докапиталистических форм известный условный характер. В произведениях Группы «Освобождение труда» этот характер «защиты капитализма» сохранялся в полной мере. Не то было в произведениях Струве, Туган-Барановского, Булгакова. Их защита капитализма от народнических обличений зачастую переходила в апологию, их обличение докапиталистических экономических отношений в современной России принимало односторонний характер, а поскольку эта защита и это обличение санкционировались конечною целью социализма, эта санкция имела скорее чисто формальное значе-

ние, ибо самая критика архаического экономического строя велась с точки зрения основных понятий *буржуазной* политической экономии — национального богатства, развития национального труда и т. д. Заимствуя у революционного европейского и русского марксизма все те доводы против народничества, которые позволяли вскрыть противоречие его desiderata с интересами пролетаризованных слоев населения, «легальный марксизм» середины 90-х годов ставил в своей критике ударение на необходимости «сознать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму», как выразился П. Струве в своих «Критических заметках», на необходимости отказаться от народнического завета борьбы с буржуазией, как двигательницей экономического развития.

Эта главная тенденция обусловливала собою и определенную интерпретацию той теории, которую Струве и его соратники противопоставили народничеству. В предисловии к своей книге П. Струве нарочито оговаривал, что он чужд всякой «ортодоксии»; в главе, посвященной философской критике народнического субъективизма, он определенно становится на сторону критической теории неокантианцев, а в критике экономических теорий народников опирается в такой же мере на Маркса и Энгельса, как и на Вернера Зомбарта, Брентано и все социально-прогрессивное крыло немецкой катедер-социалистической школы. Защита капитализма, подкрепляемая аргументами, взятыми у Шульце-Геверница или Брентано, превращалась в почти абсолютную его идеализацию; внутренняя противоречивость защищаемого от народнических обличений капиталистического строя затушевывалась, и антагонисты народничества вплотную подходили к той границе, за которою временное совпадение некоторых интересов капитала и труда (в лице пролетариата капиталистической промышленности) начинало приобретать вид прочной и длительной их гармонии.

Представленный в таком виде широкой читающей публике «легальный» марксизм подвел итоги совершившемуся в интеллигентских демократических массах процессу освобождения сознания от тяготевшей над ним в течение десятилетий, теперь изъеденной внутренними противоречиями старо-народнической идеологии. В новом учении демократические массы нашли санкцию своего выросшего за двадцать лет гражданского самосознания. Эмансипаторские стремления демократической интеллигенции, направленные к политической «европеизации» России, переставали сталкиваться с интересами трудящихся классов; совпадение ближайших стремлений просвещенной части имущих классов и радикально-демократической интеллигенции переставало коро-

бить ее глаза и смущать ее совесть. Та «реабилитация действительности», которую восьмидесятники тщетно искали на пути политического квиэтизма и примирения с абсолютистским режимом, достигалась теперь на пути идущего вперед процесса экономического развития, подрывающего все социальные основы, на которых покоился старый режим. То, чего тщетно пытались достигнуть Драгоманов, Степняк, народоправцы — обосновать русский *демократический радикализм*, не прибегая к социалистической утопии, — было теперь сделано.

Понятно, что народничество, в своей борьбе с марксизмом, схватилось прежде всего за этот апологический характер критики Струве и его единомышленников. Оно пыталось мобилизовать против нового учения социально-альтруистические традиции демократической интеллигенции. Но народничество, в лице своих последовательных выразителей, как В. Воронцов и С. Кривенко, само успело в течение 80-х годов настолько «омещаниться», что его филиппики против «буржуазности» русского марксизма не производили впечатления: оно само пыталось по-своему «реабилитировать действительность» тугого и потому особенно мучительного развития капитализма, поскольку изображало его, как процесс упрочения и развития «высшего экономического типа»: его идеалы и критерии слишком били в глаза своей мизерностью и своим несоответствием освободительным стремлениям интеллигенции, чтобы его борьба против марксизма могла быть успешной. Сильнее был вооружен для этой борьбы Н. К. Михайловский, поскольку он отмежевался от «чисто-экономического» народничества В. В. и других верующих апологетов социальной отсталости. Но почти абсолютный скептицизм, проникавший собою публицистику Михайловского, ослаблял действие его пламенных статей, направленных против «русских учеников Маркса». Михайловский не мог, подобно В. В., совершенно отрицать факт победы капиталистических отношений над «народным производством»; он не мог, подобно Кривенко и Карышеву, закрывать глаза на мелкобуржуазный и, в конечном счете, нисколько не тормозящий развития капитализма характер земских и правительственных «начинаний» в области поддержки кустарных промыслов и артелей; не мог, подобно Николаю-ону, апеллировать к внезапному прояснению сознания «власти» и к ее разрыву с капитализмом. Но он не мог найти в себе и революционной веры начала 80-х годов в возможность для интеллигенции «ударить хищную птицу по обеим головам» — совершить политический и социальный переворот своими силами. И еще менее он, уже в 1879 году отрицавший народные вос-

стания, мог верить в политическую самодеятельность народных масс. Ему оставалось, поэтому, лишь подмечать буржуазно-апологетические тенденции легального марксизма, бичевать разрыв последнего с идеологическими традициями и стараться низводить с пьедестала европейский социализм и европейское рабочее движение, к которым против народничества апеллировал марксизм.

Такими приемами нельзя было подорвать обаяния идеологии, дававшей теоретическое обоснование пробуждающемуся в интеллигенции стремлению к общественной активности. Но если — особенно направляемая рукой Н. К. Михайловского — народническая полемика попадала в наименее защищенные места легального марксизма, то она оказалась совершенно беспомощной в завязавшейся борьбе, когда рядом с писателями, которые от неоформленного либерального радикализма пришли к марксизму, выступили писатели, для которых сам марксизм являлся лишь теоретической санкцией определенных социально-революционных стремлений.

Появившаяся в начале 1895 г. книга Г. В. Плеханова (Г. Бельтов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»), изданная в Петербурге А. Н. Потресовым, ввела марксизм в легальную литературу во всей той полноте, в какой он мог быть выражен — не без помощи эзоповского языка — по тогдашним цензурным условиям. В своей книге Плеханов не только дал более полное (и более ортодоксальное, более тесно примыкающее к самим Марксу и Энгельсу) философское и социологическое обоснование нового направления общественной мысли, но и поставил критику русского народничества и субъективизма во всех их формах на историческую почву, показав на развитии общественной мысли во Франции и Германии аналогичность русских «самобытных» учений с некоторыми западно-европейскими течениями мысли, общность корней тех и других в аналогичных общественных условиях. Тем самым облегчалось выяснение абсолютной реакционности тех действительно самобытных элементов либерально-народнических идеологий, которые привносились в утопические концепции западно-европейского происхождения исключительно исторической отсталостью России и которые после того, как общеевропейские социалистические утопии передовой интеллигенции, разбитые в 70-х годах, померкли в ее сознании, могли играть и играли только политически-консервативную и анти-демократическую роль. Отстаивая против всех «славянофильских» элементов народничества «западническую традицию», Бельтов давал противникам бой в той же плоскости, какую избрал и П. Струве;

но, в отличие от последнего, он не затушевывал двойственного и противоречивого характера того социального и идейного процесса, который «европеизирует» Россию вместе с развитием в ней капитализма, и выяснял, что задача «русских учеников Маркса» не в том, чтобы помогать буржуазии расчищать дорогу капитализму, а в том, чтобы «развивать самосознание производителей», которых развитие капитализма ставит в условия, благоприятствующие такого рода воздействию.

Развивая мысль, впервые высказанную им еще в «Социализме и политической борьбе», Плеханов представлял спор марксизма с народничеством, как историческое продолжение старой борьбы западничества со славянофильством. Социал-демократия — представительница пролетариата — является в России той высшей формой, в которой совершается длящаяся в течение столетия борьба западно-европейской цивилизации с азиатской «самобытностью». Отсюда, для всех, хотя бы и буржуазных сторонников прогресса, вытекает обязанность поддерживать марксизм и политически выражающую его социал-демократию — такова прямо не высказанная, но ясно проходящая через книгу тенденция автора. Во имя этой тенденции, он снисходительно относится к той интерпретации, которую марксизм получил в легальной литературе. Он поправляет П. Струве с его призывом «итти на выучку к капитализму», но оправдывает эту заключительную тираду «Критических заметок», как естественное «благородное увлечение западника», аналогичное тем, которые совершал Белинский.

Иная совсем нота звучит у другого писателя, в том же 1895 году вышедшего из нелегального «подполья» в легальную литературу. В конфискованном цензурою, но успевшем получить распространение среди интеллигенции сборнике «Материалы к характеристике экономического положения России» Тулин (Н. Ленин) поместил статью «Народничество и его критик», в которой точка зрения и критический метод Струве были подвергнуты строгой, хотя и дружественной по форме критике. Тулин отметил характерные для Струве оговорки об его «неортодоксальности» в теории, его «об'ективизме», который сближает его с катедер-социалистической школой, и который игнорирует классовую борьбу, лежащую в основе всякой идейной борьбы, хотя бы происходящей в высших сферах идеологии; он повсюду дополняет анализ экономической действительности и народнической идеологии, данный П. Струве, формулированием интересов и позиций рабочего класса; словом, самую литературную борьбу марксизма с народничеством вдвигает в рамки

классовой борьбы, порождаемой капиталистическим развитием. Если, при всем том, теоретическая полемика с народниками доводит порою Тулина до почти апологетического отношения к русскому *капитализму*, освобождающему страну от крепостничества, то в его статье общественная позиция марксистов определяется достаточно ясно для того, чтобы устранить от нее тень всякого апологетизма по отношению к *буржуазии*.

Большая, чем у Плеханова, непосредственная близость Ленина к находившимся в состоянии брожения передовым рабочим, позволявшая чувствовать быстрое нарастание благоприятных условий для проявления широкого рабочего движения, об'ясняет эту большую решительность и определенность, с которыми в его статье марксизм плехановской школы выступил против уклонений, характерных — и, как показало будущее, неслучайных — для новой среды, усваивавшей в это время марксистские идеи. Но эта решительность, как выше указано, отнюдь не переходила во враждебность. Для Тулина Струве являлся единомышленником, нуждавшимся лишь в указании невыдержанности его позиции. Борьба за торжество новой концепции общественного развития, борьба против народничества за влияние на умы, все более интересовавшейся вопросом о марксизме демократической интеллигенции доминировала над всеми другими интересами и толкала марксистов разных формаций к тесному единению. А поскольку за Бельтова и Тулина начало говорить громко заявившее о себе в 1895 — 1896 г.г. рабочее движение, ставшее из момента теоретического прогноза крупным фактом общественной действительности, и поскольку, под влиянием этого явления, интеллигентские массы (молодежь преимущественно) заражались энтузиазмом и проникались готовностью служения новой народной силе, — постольку и сами идеологи «легального» марксизма поддались влиянию дружественной критики тех, кто из марксистской теории делал определенные социал-демократические выводы. Уже помещенная в том же сборнике 1895 года статья Струве «Моим критикам» делает заметный шаг навстречу Бельтову и Тулину, а в возникшем в 1897 году журнале «Новое Слово» девятидесятники и Плеханов с его ближайшими единомышленниками выступают уже сплоченной фалангой, одновременно преследующей разбитое и отступающее народничество в сферах экономической теории, социологии и социальной политики и выясняющей, поскольку позволяют рамки подцензурной печати, роль русского пролетариата, как новой активной общественной силы, призванной явиться борцом за культурно-политическую европеизацию страны. Такой

сплошной фалангой они остаются в следующие годы, вплоть до конца десятилетия.

В эти годы марксизм завоевывает себе влияние на самые широкие круги демократической интеллигенции, оттесняя совершенно народничество. Там, где не убеждала теоретическая и публицистическая критика, действовала практика все более бурно разраставшегося рабочего движения, в котором все более заметную и активную роль играли тайные общества социал-демократов, действовавшие под различными именами и в 1898 г. официально об'единившиеся в социал-демократическую партию. Значительное количество интеллигентных сил, которые не могли примкнуть непосредственно к партии, естественно сохранившей конспиративно-замкнутый характер, проявляло свою общественную активность обслуживанием рабочего движения и косвенной помощью нелегальным с.-д. организациям в той или другой области.

III.

Быстрое расширение сферы идейного влияния социал-демократии и столь же быстрое вовлечение в ряды ее действующего отряда новых интеллигентских масс должно было неизбежно отразиться на ее идеологии, до тех пор развивавшейся в направлении, указанном первыми трудами Группы «Освобождение труда». Соприкасавшаяся непосредственно или косвенно с рабочим движением в его тогдашней очень еще элементарной форме с преобладанием в нем мотивов профессионально-экономической борьбы, идейно воспитанная преимущественно на публицистике легального марксизма, в которой доминирующую роль играла борьба с народническими теориями, и, наконец, находясь в общественной среде, в которой (за вычетом терявших значение народнических групп и совсем слабых либеральных литературных кружков) все политически активное симпатизировало рабочему движению, а все элементы, прямо враждебные последнему, открыто поддерживали старый режим, — социал-демократическая интеллигенция 90-х годов в своем представлении значительно исказила те перспективы, в которых Группа «Освобождение труда» рисовались историческая роль и значение русского рабочего движения. Обусловленный промышленным под'емом 90-х годов и слабой подготовленностью отсталой русской буржуазии к классовой самообороне, относительно легкий успех первых шагов массового рабочего движения, выразившийся как в издании закона 2-го июня 1897 года, так и в уступках, сделанных непосред-

ственно фабрикантами, породил преувеличенные представления о возможности для русского пролетариата сложиться в организованную силу и сделать известные экономические и правовые завоевания в рамках данного режима и при сохраняющемся соотношении общественных сил — при консерватизме промышленной буржуазии, при полном почти отсутствии либерального движения в имущих классах и при той слабой роли, которую в эту эпоху промышленного оживления играли в общественной жизни аграрный вопрос и социальная борьба крестьянского с поместным землевладением. Самая эта конфигурация общественных отношений, дополнявшаяся отсутствием какого бы то ни было под *самостоятельным* знаменем совершающегося движения интеллигентской демократии и полного отсутствия идейных связей между нею и непролетарскими слоями народа, представлялась молодому поколению социал-демократии характерной не для определенного лишь момента в развитии пореформенного русского строя, но для целого исторического периода приспособления старого порядка к капитализму и выдвигаемому им новому имущему классу. Сообразно этому поместное дворянство и старое общинное крестьянство представлялись обреченными на постепенное исчезновение и растворение в новых буржуазных классах, аграрный вопрос в старой форме окончательно разрешающимся путем преобразований, вносимых в деревенские отношения капитализмом; промежуточные — между буржуазией и пролетариатом — классы осужденными исключительно на социально-реакционную и бессильную роль в общественном развитии; сама капиталистическая буржуазия — классом, который постепенно и незаметно становится у власти, а прежняя носительница русского освободительного движения — либеральная и демократическая интеллигенция — быстро раскалывающейся на две части — одну, примыкающую к пролетариату, и другую, растворяющуюся в консервативных и реакционных классах.

Развитию таких представлений не мало способствовали марксистские теоретики 90-х годов: Ленин-Ильин («Развитие капитализма в России»), П. Струве (особенно написанный им «Доклад с.-д. делегации на Лондонский международный конгресс» и им же составленный манифест Росс. Соц.-Дем. Рабочей Партии), М. Туган-Барановский («Фабрика»). Совершенно иная концепция русского общественного развития, намечавшаяся в произведениях Плеханова в 80-х годах, а теперь конкретизировавшаяся особенно в разных статьях П. Б. Аксельрода, вышедших заграницей в течение 1896 — 1899 г.г., была частью мало известна, частью казалась чуждой поколению 90-х годов, в сознании которого факты не-

удержимого роста рабочего движения в период политической апатии среди имущих классов и тесного сплочения бюрократии с капиталистической буржуазией представлялись скорее опровергающими прогноз Плеханова и Аксельрода, настаивавших — по аналогии с историческими процессами в более передовых странах Европы — на неизбежности политического антагонизма между имущими классами старого режима и буржуазией, и на том, что импульсы, даваемые либеральными и демократическим движениями против старого режима, явятся предпосылкой значительного развития и полного самоопределения рабочего движения в России в рамках этого режима.

Среди действующих социал-демократов все более в конце 90-х годов распространялось направление, позднее названное «экономизмом». Характерной чертой этого направления является признание единственным рычагом рабочего движения тех столкновений, которые создаются между рабочими и капиталистами на почве отношений найма, в пределах фабрики или мастерской. Возводя в закон развития рабочего движения эмпирический факт, который на их глазах имел место в России, и совершенно игнорируя роль, которую в возникновении русского стачечного движения сыграла общая атмосфера недовольства сословно-крепостническим строем, приведшая к сближению с рабочими широких кругов интеллигенции, вышедшей из имущих классов, — «экономисты» мыслили дальнейшее направление руководимого ими движения, как имеющее совершаться в том же узком русле непосредственных взаимоотношений между капиталистами и рабочими и постепенно лишь переходящее от частных задач, об'единяющих отдельные группы рабочего класса, к более общим, охватывающим интересы всех этих групп все в той же экономической сфере. Таким образом, по мнению «экономистов», русские рабочие постепенно от борьбы за непосредственные улучшения на отдельных фабриках или в отдельных производствах должны будут перейти к борьбе за законодательное закрепление своих завоеваний, за признание государством их прав бороться (свобода коалиций, собраний), наконец, за участие в самом законодательстве, регулирующем рабочий вопрос на ряду с капиталистами. Не отказываясь принципиально от требования демократизации всего государственного строя в целом, «экономисты» отодвигали с поля своего зрения борьбу за нее, и скорее склонны были думать, что постепенная демократизация царящего режима будет совершаться более или менее автоматически в результате приспособления самодержавной властью наличных учреждений и норм к расширяющим свои

публичные права новым классам — промышленной буржуазии и пролетариату. В образовании этого представления играла значительную роль практика правительства, руководимого С. Ю. Витте, и стремившегося в 90-х годах обеспечить организациям промышленников возможность известной классовой самодеятельности и некоторого косвенного участия в законодательстве.

Свои непосредственные импульсы идеология «экономистов», сбивающаяся скорее на синдикализм, чем на социализм, получала от опыта практиков 90-х годов — периода промышленного оживления — показывавшего, что, глухие ко всякой политической агитации, рабочие массы необычайно легко для русских условий мобилизуются для борьбы на почве профессиональной. Но в своих политических предпосылках эта идеология отражала на себе влияния настроений предыдущего периода, поскольку на выработку ее повлияло представление о полном вымирании имущего либерализма, связанного с хозяйственно ослабленным дворянским землевладением, и о полном отсутствии общественной активности среди демократических элементов города. Поэтому эта идеология в ее чистом виде, как она формулировалась в рабочих кружках и подпольных организациях интеллигентов, с самого начала не имела шансов приобрести общественное значение, а ее влияние в самом подполье и в передовых кругах рабочих должно было быть преходящим и исчезнуть с изменением уже одной промышленной конъюнктуры. Но громадная роль, которую к этому времени марксизм приобрел в жизни русской интеллигентской демократии, сделала то, что этот уклон действующих в рабочей среде социал-демократов должен был определенно повлиять на ее умонастроение.

Во-первых, престиж, которым пользовались непосредственно руководившие рабочим движением деятели, заставлял относиться с доверием к их заявлениям об естественных тенденциях этого последнего. В представлении широких кругов интеллигентской демократии русский пролетариат должен был, поэтому, рисоваться массой, неспособной проникнуться интересом к общедемократическим задачам и, следовательно, абсолютно непригодным к роли «класса-освободителя», сознательного борца за демократическое преобразование. Но в то же время его роль, как социального фактора, своим классовым действием расшатывающего все устои старого режима, оставалась вне всякого сомнения. Тем самым, вопрос о том, какие же именно общественные группы должны будут и смогут взять на себя борьбу за политическую и гражданскую эмансипацию, становился опять открытым и при-

влекал внимание марксистски настроенной демократической интеллигенции, с одной стороны, к тихо тлевшим очагам имущей земской оппозиции, с другой, к ее собственной политической роли социального слоя, значительно расширившегося, умножившегося и укрепившегося со времени 70-х годов.

Во-вторых, политическая концепция «экономистов» совершенно вычеркивала из перспектив будущего, поскольку они определялись классовой борьбой, момент политического *переворота*, базировалась на представлении о возможности и неизбежности постепенной эволюции наличных политических форм. Постольку в умственной эволюции русских социал-демократов находили подкрепление своим взглядам умеренные и оппортунистически настроенные элементы демократии.

Но, в третьих, именно постольку элементы, настроенные в противоположном смысле, должны были оттолкнуться от социал-демократии. Так, к концу 90-х годов, среди нелегально работающей интеллигенции вновь возникают группы под знаменем социально-революционным, противопоставляющие постепенству «экономистов», продолжавших ссылаться на учение Маркса, свое стремление теперь же раздвинуть рамки агитации за пределы профессионального движения, придать ей политический характер и призывать массы к боевым действиям. Эти социально-революционные группы притягивают к себе соответственно настроенные единицы из рабочего класса, приобретают некоторое влияние на студенчество и выводят из состояния пассивности некоторые элементы старого народнического поколения.

Таким образом, в настроении интеллигентской демократии, в течение нескольких лет испытавшей на себе гегемонию марксистского социал-демократизма, создались—частью как результат влияния пропаганды и практики «экономизма», частью, как протест против определенных тенденций последнего — благоприятные условия для пересмотра всего того цикла идей, каким являлся марксизм.

Вот почему, около того времени возникшая, преимущественно в немецкой социалистической литературе, полемика по вопросу о пересмотре теории Маркса и программы социал-демократии, связанная, главным образом, с именем Э. Бернштейна, оказала в следующие годы совершенно исключительное влияние на умственную и политическую эволюцию самых широких кругов в России.

В нелегальных организациях бернштейнианство помогло «экономизму», в лице более последовательных его представителей, развиться в более или менее законченную систему

взглядов. Бернштейн критиковал революционные тенденции в программе и тактике германской социал-демократии; признавая их исторически законными для предыдущих этапов рабочего движения, он об'явил их устарелыми и вредными для той стадии его развития, когда рабочий класс стал признанной общественной силой и получил в демократических формах государства средство для непрерывного улучшения своего положения в рамках капиталистических отношений. Но, чтобы обосновать это положение, Бернштейн должен был подвергнуть критике и отрицанию все теоретические основы марксизма, его представления о ходе экономического развития, из которых вытекают его прогнозы, равно как и самые философские и социологические предпосылки марксизма и его научный метод. Такая теоретическая позиция придавала критике социал-демократии у Бернштейна более универсальный и абсолютный характер; для его последователей в странах с более отсталым рабочим движением вопрос уже не мог итти о повторении тех стадий развития, которые пережило в прошлом западно-европейское движение и которые, до известной степени, сам Бернштейн санкционировал задним числом. Для русских последователей Бернштейна выводом из его критики должно было явиться внесение социально-реформаторской струи в рабочее движение уже на данной первичной его стадии, оттеснение политических задач движения на второй план, сравнительно с экономическими и, соответственно этому, выдвигание профессиональной и кооперативной организации на первое место; в самой же политической деятельности — смягчение ее классовых тенденций, сближение с непролетарскими демократическими слоями и устранение из тактики момента «катастрофы», внесение в нее постепенства и поссибилизма.

Наслаиваясь на первоначальные грубо-элементарные тенденции практического «экономизма», замыкавшего себя в тесный круг рабочих интересов данной минуты, эти выводы из бернштейнианской критики дали, как довольно верное выражение настроений, господствовавших в социал-демократической среде в течение 1898 — 1902 г.г., программу возникшего заграницей органа «Рабочее Дело» (В. Иваньшин, Б. Кричевский и др.). Появление этого органа ознаменовало отпадение большой части эмиграции и связанных с нею русских комитетов с.-д. партии от Группы «Освобождение Труда», теоретический ортодоксализм которой признавался «рабочедельцами» устарелым, а политическо-революционные тенденции — пережитком народовольческой эпохи, несоответствующим политическим задачам русского рабочего движе-

ния. Задача политического освобождения, по мнению «рабочедельцев», может выдвигаться перед рабочим классом лишь постепенно, по мере развития его движения, как движения экономического, и должна принимать характер борьбы за «частичные» права, по мере того, как потребность в том или другом праве возникнет в рабочих массах, как вывод из неуспешности одной экономической борьбы. Отсюда — тенденция не забегать вперед от наличного умонастроения самых широких рабочих масс, не спешить с требованиями конституционного преобразования в целом. Более крайнюю позицию в лагере «экономистов» занимали руководители издававшейся в Петербурге и пользовавшейся большим успехом «Рабочей Мысли», которые склонялись к полному отказу от политической борьбы при данных условиях и к отрицанию самой необходимости особой политической рабочей организации, стоящей вне профессиональных и кооперативных обществ. Внешний вид полного индиферентизма этого течения ко всем остальным проблемам русской жизни — кроме проблемы непосредственной борьбы рабочих с капиталистами — скрывал, однако, за собою признание того, что борьба за гражданское и политическое освобождение страны будет и должна вестись *вне рабочего движения*. Эту мысль формулировала вполне отчетливо Е. Д. Кускова в одном, как она сама рассказывает, случайно набросанном ею изложении своих взглядов, которое, однако, приобрело большую известность, так как было в 1899 г. опубликовано Н. Лениным, воспользовавшимся им, чтобы печатно выступить против русского бернштейнианства. Опираясь на эволюцию западноевропейской социал-демократии, как она резюмирована Бернштейном, Кускова принимает за нормальный путь для русского рабочего движения исключительно экономическую борьбу, в которой рабочие действуют, как особый класс. Но, прибавляет она, в то же время социал-демократы должны содействовать обществу в его борьбе за политическую свободу. Таким образом, за рабочим движением, разбудившим в 90-х годах русское общество и выведшим страну из равновесия, отрицалась в дальнейшем творческая политическая роль, каковая целиком переносилась на либерально-демократические элементы общества. Так, опираясь на изменение соотношения общественных сил, достигнутое первыми выступлениями рабочего класса, мысль демократической интеллигенции возвращалась в конце десятилетия к той исходной точке, которую в начале его выразили Степняк и «народоправцы».

Ибо тезисы Кусковой верно отражали настроение значительной части той среды, которая в предыдущие годы испы-

тала на себе воздействие легального марксизма. По мере того, как шум борьбы рабочих пробуждал к общественной активности широкие круги интеллигенции, а перспективы принятия этой борьбой непосредственно-политического, общенационального характера уходили в туманную даль, создавались условия для преображения господствовавшего в интеллигенции марксизма в чисто-политический демократизм, отвергающий всякий классовый характер своих стремлений и именно постольку претендующий формулировать об'ективные интересы стоящих вне пролетариата классов.

Опирающаяся на Бернштейна и других «ревизионистов» критика марксистской теории, заполнившая собою легальную прессу конца десятилетия, служила идейным орудием для расчистки пути пропаганде чистого демократизма. Но эта бернштейнианская атака на «ортодоксию» вызвала со стороны русских представителей последней резкий отпор, побудив их не только к теоретической защите философских, социологических и экономических основ марксизма и политических методов международной социал-демократии, но и к отчетливой формулировке политических задач пролетариата в России накануне нового общественного под'ема. Еще в 1898 г. — за год до credo [1]) — П. Б. Аксельрод в ряде статей, вызванных тревожными признаками успехов «экономизма», формулировал «историческое оправдание русской социал-демократии» и ставил перед последней задачу приобретения политической гегемонии в общенациональном освободительном движении, при сохранении строго-классового своего характера. Протест Ленина и его товарищей против credo, выступления Плеханова и Аксельрода против «Рабочего Дела» (1899 — 1900 г.г., особенно памфлет Плеханова Vademecum) все более углубляли разрыв между ортодоксальным марксизмом и бернштейниански окрашенной демократией, идеологи которой вскоре же почувствовали всю несостоятельность той идейно-оппортунистической позиции, к которой их обязывало бернштейнианство. Ибо последнее, как теоретическая концепция, есть не что иное, как «ревидированный» марксизм, как эклектическое соединение марксизма с отдельными теоретическими положениями буржуазной философии и экономии. Марксисту, выступающему под знаменем целостной доктрины, которая обнимает теорию и практику, и именно своею целостностью поборола народническую идеологию, марксизму, отстаивающему, не без успеха свое влияние на интеллигентские массы, надо было противо-

[1]) Такое название получило упомянутое выше изложение взглядов Е. Д. Кусковой.

поставить возможно стройную доктрину, проникнутую одним теоретическим принципом. И это тем более, что, как мы увидим далее, кризис русского марксизма одновременно создал благоприятные условия для возрождения реформированного народничества, для общественной позиции которого утилизирование и ассимиляция теоретических элементов бернштейнианства было значительно легче, чем для демократического либерализма с его неизбежной для всякого либерализма тенденцией к затушевыванию и игнорированию социального вопроса.

Поэтому, после первых же теоретических схваток между «ортодоксами» и «критиками», бернштейнианский социализм, как идеологическое знамя последних, отбрасывается ими и, в то время, как полемикой Бернштейна и бернштейнианцев они продолжают пользоваться для выполнения отрицательной задачи — низвержения ортодоксии, — для положительной обосновки демократических задач они вынуждены перейти к философскому идеализму (Фихте и особенно Кант), к буржуазной политической экономии (австрийская школа предельной полезности), к учению об абсолютной ценности правовых норм и внеклассового происхождения и значения политических форм, к идеологии индивидуализма и национализма, наконец, к религиозному началу, как высшей и безапелляционной санкции борьбы личности против отживших форм и такой же санкции борьбы общества против революционных стремлений снизу [1]).

Вся эта теоретическая работа, подталкиваемая все более оживляющейся общественной жизнью и зрелищем быстро усиливающегося противника, совершалась наспех и лихорадочно: возводимые «идеалистами» теоретические постройки оставались незаконченными, бросались на полпути; к ним искусственно пристраивались новые. Цельной положительной системы не получалось. Перечисленные выше элементы теоретических систем плохо вязались одни с другими, они представляли, собственно говоря, лишь отдельные этапы на пути, который каждому отдельному идеологу приходилось пройти, чтобы освободить свое сознание от плена марксистских идей. В течение нескольких лет мысль передовых представителей интеллигентской демократии, вчера поклонявшейся научному социализму, а перед тем, в течение десятилетий воспитывавшейся на народническом субъективизме,

[1]) В этой чрезвычайно напряженной идейной работе, заполнившей 1900—1903 годы, главная роль бесспорно принадлежит П. Б. Струве, рядом с которым выступают Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Туган-Барановский, П. Новгородцев, С. Франк, Б. Кистяковский, Е. и С. Трубецкие и др.

как бы наскоро заставила продефилировать перед собой все философские системы, политические и экономические учения, в которых на протяжении целого века мысль лучших сынов западно-европейской буржуазии искала ключа к установлению гармонии между сущим и должным, к разрешению конфликтов между логикой тех принципов, во имя которых была зовоевана современная ступень западно-европейской цивилизации, и тою социально-политической реальностью, которая санкционировалась этими принципами. Но все эти системы, все эти учения, постаравшиеся в свое время возвести буржуазную действительность в идеал, когда она переживала апогей своего блеска, и реабилитировать ее, когда она обнаружила скрытые в ней противоречия, — все эти учения приходилось воспринимать *после* того, как они подверглись испытанию этой самой действительности, когда они были перемолоты между жерновами классовых противоречий, и, одно за другим, потеряли свою стройность и свой блеск, когда от целостных систем остались лишь отдельные обрывки, причудливо сочетавшиеся в уме современного европейского либерального буржуа. Несмотря на известный гражданский под'ем «идеалистов», который оставлял свой отпечаток на их произведениях, эклектический характер пропагандируемых ими учений, их надуманность, их несоответствие действительному пафосу переживаемой эпохи сводили почти к нулю обаяние их пропаганды на интеллигентские массы, об'ективно предрасположенные, однако, к усвоению идей *боевого* либерального демократизма. Но именно на *боевом* характере нового течения пагубнее всего отразилась эта полоса теоретических исканий. Проторенные европейской идейной реакцией пути, по которым они двинулись в поисках теоретической санкции назревающих потребностей имущих классов, заводили подчас идеологов, в силу внутренней логики усваиваемых ими учений, за пределы, в которых могли быть так или иначе формулированы эти классовые потребности. Если, напр., в борьбе с марксистским учением о взаимоотношении между личностью и общественной средой, Струве, защищая принцип автономии личности, мог подходить к формулированию такой антитезы между личностью и государством, которая приводила его к толстовскому анархизму [1]), то, с другой стороны, у того же Струве, у Булгакова, у Бердяева и других мы встречаем реставрацию религии, национальной идеи и идеала государственности в такой форме, которая бьет в лицо историческим принципам

[1]) В его статье во второй книге журнала „Освобождение“ за 1902 г.

всякого либерализма и на деле в России — уже и раньше, и впоследствии, после 1905 г. — служит теоретической санкцией, тяготеющей к абсолютизму консервативной идеологии.

Поэтому, работа «идеалистов», не создавая действительного *идейного* об'единения в стане отделявшихся от народных низов интеллигентских масс, не могла и привлечь к либерализму наиболее боевые, проникнутые практическим идеализмом элементы: не могла, прежде всего, как на это указывали сами либералы, привлечь к ним наиболее ценные элементы молодежи. Поскольку на последнюю идеалистическая критика и оказывала известное влияние, подрывая в ней доверие к социальному материализму и классовым идеалам социализма, она работала непосредственно на пользу *не* самого либерализма, а более крайнего социально-революционного крыла радикализма, получившего свое теоретическое выражение и обоснование в реставрированном и исправленном народническом суб'ективизме.

Но под этой оболочкой идейной реакции, впервые, после 40 лет господства в русской интеллигенции позитивизма и материализма, реставрировавшей престиж идеалистической метафизики и религии, совершался общественно политический процесс, об'ективно имевший прогрессивное значение. Ибо постепенное отпадение идеологов интеллигентской демократии от социализма и революционных методов действия уже само по себе значительно расширяло сферу их политического влияния, способствовало вовлечению в руководимое ими движение новых интеллигентских масс и открывало им путь к воздействию на стоявшие вне общественной борьбы обывательские мелкобуржуазные слои. В то же время это был процесс политического сближения демократов, прошедших школу социализма, с социальными элементами, шедшими под знаменем старого русского умеренного либерализма, с оппозиционной частью имущих классов, пунктами средоточия которых являлись преимущественно земство и академические корпорации. Если *идеология*, которую выработали экс-марксисты в борьбе с классовым социализмом, по своей эклектичности и пропитанности реакционными элементами, не могла об'единить все те разношерстные социальные слои, которые втягивались в общественную борьбу, не подпадая влиянию революционно-социалистических направлений, если, в частности, идейные традиции строго либерализма, проникнутые трезвенным позивитизмом и гуманистическим народолюбием, враждебно сталкивались с метафизическими и индивидуалистическими тенденциями нового либерализма, то *политическая* программа последнего, стоявшего на почве опыта данного пробуждения рабочего класса и по-

литической мобилизации демократии под флагом социализма и во имя сочувствия непосредственным требованиям рабочих масс, отвечала потребности широких кругов общества и, импонируя старому доктринерскому и дворянско-земскому либерализму, заставляла его считаться с собою. Так мечта «народоправцев» и Степняка находила свое исторически возможное осуществление в образовании элементов либерально-демократического блока под политическим руководством отщепившейся от социализма части интеллигенции.

Студенческие волнения 1899 года, принявшие форму всеобщей забастовки высших учебных заведений, вызвав в широких кругах интеллигенции и в имущих классах глубокое сочувствие, явились симптомом неизбежного нового общественного движения. Оно выступило наружу в 1901 году, когда репрессивные меры правительства по отношению к академическим волнениям (отдача студентов в солдаты), вызвали студенческие уличные манифестации и обнаружили готовность как студентов, так и рабочих, действовать совместно в политической борьбе. Протесты общественных учреждений, журналистов и литераторов против избиения студентов 4 марта 1901 г. (в Петербурге), появление нелегальных изданий и воззваний, обращавшихся в общественных кругах, до тех пор недоступных воздействию такой литературы, шум, произведенный убийством министров Боголепова и Сипягина, начавшиеся с весны 1901 года, в значительной мере под влиянием острого промышленного кризиса, бурные проявления рабочего движения, сопровождавшиеся (напр., на Обуховском заводе в мае 1901 г.) кровопролитием и принимавшие все более революционно-политический характер; обусловленное тем же экономическим кризисом, новое оживление аграрного вопроса, как вопроса о падении и застое всего сельского хозяйства, вызвавшее в 1901 — 1902 г.г. ряд совещаний земских деятелей и обслуживавшего земства «третьего элемента» и побудившее правительство, под давлением дворянства, образовать «Особое совещание о нуждах сел.-хоз. промышленности» и губернские и уездные комитеты в помощь ему; наконец, глухое брожение в крестьянстве, разразившееся весной 1902 года кровавыми беспорядками на юге России, — все эти события и факторы формировали элементы для либерально-демократического движения и для политической организации либералов. В течение 1901 года происходят тайные совещания передовых земских деятелей для проведения однородной тактики в защите еще только экономической и культурной программы либералов и для обороны местного самоуправления от покушений бюрократии; но уже делаются отдельные попытки об'едине-

ния земцев на общеполитической платформе (воззвание «старых земцев» весной 1901 г. и т. п.); образуется «Союз земцев-конституционалистов» при участии Н. Н. Львова, Петрункевича, Родичева, Шаховского и др., и в то же время, при участии столичных литераторов и тех же передовых земцев, организуется «Союз освобождения», об'единяющий умеренных либералов и отошедших от марксизма демократов (Струве, Бердяев, Прокопович, Кускова, Богучарский), равно как представителей новой народнической литературы (Пешехонов, Анненский). По инициативе этого союза, Струве основывает заграницей орган либерально-демократической оппозиции «Освобождение» (июнь 1902 г.) и тем кладет основание оформленному существованию конституционалистской партии.

Как выше указано, либеральный демократизм не мог поглотить всех тех элементов, которые внутренним развитием интеллигенции и пропагандой бернштейнианцев и идеалистов отрывались от марксизма, как не мог поглощать, в силу тех же противоречий в своей идеологии, всех новых элементов интеллигенции, втягивавшихся в общественное движение по мере его обострения и углубления. Громадные массы студенчества, сельской и городской провинциальной интеллигенции, служилого «третьего элемента» по своему политическому настроению и по своей бытовой и частью экономической связи с народными низами и, особенно, крестьянством, не могли признать своею программу либерализма с его умеренной тактикой и с тенденциями к компромиссу с интересами имущих классов. Так создавалась почва для реставрации революционного и радикального *народничества*, в котором должны были найти свое идеологическое выражение общественные интересы всех оппозиционно-настроенных слоев, промежуточных между пролетариатом и буржуазией.

В легальной литературе происходит эволюция «Русского Богатства», в смысле более яркого подчеркивания радикально-политических тенденций и введения в теоретическую борьбу с марксизмом элементов, заимствованных из западно-европейского ревизионизма, но приспособленных к своеобразным условиям русского исторического развития. На первое место в борьбе с марксизмом, вместо Михайловского и Карышева, выступают Пешехонов, Подарский (Кудрин), Рафаилов (Гоц) и особенно В. Чернов. Проблемы русской жизни ими рассматриваются в тесной связи с проблемами западно-европейского рабочего движения, по отношению к которому они, в отличие от народников первой половины 90-х годов, занимают позицию людей, принципиально стоящих на его почве и лишь критикующих его официаль-

ную идеологию — марксизм — с точки зрения ее несоответствия научному опыту и интересам всего рабочего класса в целом. Критика европейской марксистской социал-демократии ведется ими теоретически в духе Бернштейна и ревизионистов, но в практических выводах из этой критики народники частью поддерживают тенденции бернштейнианцев к сближению наемного пролетариата с другими слоями трудящегося населения, применяя их к России, частью, наоборот, выступают против ревизионистского оппортунизма, представляя его естественным выводом из сохранившихся в ревизионизме «фаталистических» элементов марксизма и из увлечения социал-демократии парламентаризмом. Опираясь на ревизионистскую критику марксистской философии истории и учения о борьбе классов, они пользуются ею, чтобы выдвинуть роль идеалистического фактора в истории, призванного вносить корректив в стихийно-развивающуюся борьбу классов, неизбежно ведущую к торжеству грубого материализма и оппортунистической трезвости, частью разоблаченных ревизионистской критикою, частью иллюстрируемых практикой тех же ревизионистов. Но выдвигание роли идеалистического фактора в истории ведет к реставрации идеи внеклассовой интеллигенции, как самостоятельного, — а в русских условиях и крупнейшего — фактора общественного прогресса и к подчеркиванию значения индивидуальной и групповой инициативы. В то же время специально ревизионистской критикой марксизма в области *аграрного* вопроса народники пользуются для того, чтобы конструировать полное совпадение социально-экономических интересов пролетариата и крестьянства в России, чтобы умалить значение социально-экономических антагонизмов внутри крестьянства; они настаивают, в противоположность русским марксистам, на возможности активного движения крестьян под социалистическим знаменем на почве обострения русского аграрного вопроса и на общественно-прогрессивном значении в этом смысле борьбы за поддержание и развитие общины и различных видов сельской кооперации.

В заграничной эмиграции и в революционных кружках в России происходит аналогичная эволюция. Заграницей возникает «Лига аграрного социализма», специально занимающаяся вопросом о взаимоотношении между социалистическим движением и крестьянством и задачами пропаганды в деревне. Но на первое время энергия активных революционных элементов народничества направляется не в эту сторону. Напротив, еще в первом номере вышедшего в 1901 году «Вестника Русской Революции» (Русанов, Гоц, Рубанович) и в «манифесте партии соц.-революционеров»,

появившемся в 1900 году в России и исходившем от нескольких нелегальных групп, еще заметны следы того разочарования в значении крестьянства, как активного общественного фактора, и в теоретических предпосылках народничества, которое было выражено марксизмом и оказало глубокое влияние на всю интеллигенцию. В этих литературных произведениях возможная активная роль крестьянства или игнорируется или прямо отрицается, социальной базою революционной борьбы принимается, как и у социал-демократов, рабочее движение, линия расхождения с социал-демократией проводится в резком противопоставлении задачи политического освобождения «экономистским» тенденциям и в подчеркивании роли внеклассовой интеллигенции, как инициативного и бескорыстного авангарда в этой борьбе. Эта именно сторона возрождающегося народничества привлекает к нему симпатии в среде демократической интеллигенции, которые особенно сильно возрастают вслед за тем, как после убийства министра Сипягина идея о роли инициативного идеалистического меньшинства конкретизируется у социалистов-революционеров в признании политического террора одним из самых важных орудий в борьбе за освобождение. Взрыв бурных крестьянских беспорядков, в свою очередь, усиливает значение в этом политическом лагере строго народнических элементов и, после некоторых колебаний то в сторону увлечения исключительно терроризмом, то в сторону преимущественного обращения внимания на деревню и ее движения, разнородные по идейным традициям элементы, слагающиеся в партию социалистов-революционеров, сходятся на программе, в основе которой лежит признание социализма идейной целью об'единенного движения трех социальных слоев — пролетариата, трудового крестьянства и внеклассовой интеллигенции, действующей во имя идеальных побуждений, — и вводящей в практику борьбы за политическое освобождение заговор и организованный террор, как средство дезорганизации власти и агитационного воздействия на инертные массы.

IV.

1899 год был началом промышленного кризиса, неизбежно вытекавшего из предыдущего промышленного под'ема. Осложненный действием двух последовательных голодовок, промышленный кризис сопровождался длительным застоем, на почве которого еще более ускоренным темпом развивался кризис крестьянского хозяйства, нашедший себе выражение

в быстром росте арендных цен на снимаемую крестьянами у помещиков землю. Общественное движение, начавшееся в период промышленного под'ема, принимает в годы общего хозяйственного кризиса новые формы. Первый могучий толчок всему общественному движению дает и здесь движение рабочих.

С началом кризиса число рабочих забастовок сильно уменьшается, что свидетельствует о сильно повысившейся сознательности рабочих масс, научившихся считаться в своей экономической борьбе с положением промышленности. Но тем более бурный и подчас революционный характер принимают те стачки, которые происходят в это время. Параллельно с этим, стихийно вспыхивает и проявляется в этих движениях элемент *политического* протеста — для многих неожиданный результат того воздействия социал-демократической агитации предыдущих лет, которое «экономистам» казалось ничтожным и бесплодным. Это еще неопределенное политическое брожение, сказавшееся в течение 1900 — 1901 г.г. в ряде крупных городов, дает иное направление деятельности соц.-дем. организаций. Начинается полоса подготовленных этими организациями политических манифестаций, обыкновенно охватывающих лишь небольшие кадры рабочих, но, в свою очередь, содействующих распространению политического брожения на широкие массы. После всеобщей забастовки в Ростове на-Дону (ноябрь 1902 г.), принявшей определенно политический характер и прошедшей под открытым руководством с.-д. комитета, политический и революционный характер рабочего движения определяется окончательно, и роль социал-демократии, как руководительницы и вдохновительницы этого движения, становится общепризнанной.

Этой эволюции движения в значительной степени содействовала внутренняя эволюция самой социал-демократии, характеризующаяся в этот период ожесточенной внутренней борьбой между двумя ее флангами. С 1900 года вокруг Плеханова и Аксельрода начинают собираться с.-д. элементы, недовольные «экономизмом» и протестующие против бернштейнианского поворота в легальной марксистской литературе. Политическим организатором этих элементов явился Н. Ленин, который вместе со своими единомышленниками [1]) из числа немногих, не ушедших в сторону «экономизма» и бернштейнианства, девятидесятников и с Группой «Освобождение Труда», основал в начале 1900 года газету «Искра» и журнал «Заря». Этому литературному начинанию суждено

[1]) А. Потресов, Ю. Мартов и др.

было сыграть крупную роль в политической организации борющихся общественных сил.

Являясь прямой реакцией против идейных течений, господствовавших среди деятелей рабочего движения и в марксистски-окрашенной интеллигенции к концу 90-х годов, «Искра» написала на своем знамени в области теории защиту марксистской «ортодоксии» против «критики»; в области практики — отстаивание политических задач рабочего движения против узко-профессионалистских и корпоративных его тенденций, и об'явила обязанностью русской социал-демократии стать центром и сознательно направляющей силой всего общенационального движения против старого режима, об'единяющей в своих рядах или ведущей за собою все народолюбивые, радикальные и демократические элементы. Такая постановка практических задач вела за собой стремление к образованию сплоченной и сильной партийной организации, способной и руководить классовой борьбой пролетариата и оказывать планомерное воздействие на другие демократические движения; с другой стороны, постановку в центре практической работы использования отсутствия в России свободы печати для концентрации в руках нелегальной партии функций «всенародных обличений», как выразился Ленин: свободный политический орган должен был в руках социал-демократии служить орудием могучего ее влияния на все пробуждающиеся к борьбе общественные слои, орудием приобретения и закрепления за социал-демократией идейной гегемонии в общенародном движении; и в то же время такой нелегальный орган должен был служить средством организации под партийным знаменем всех активных, готовых к революционной борьбе, элементов пролетариата и социалистической интеллигенции.

Так формулированные задачи представляли собой нечто резко противоположное тенденциям с.-д. движения в предыдущие годы и настроениям наличных деятелей рабочего движения. Это обстоятельство неизбежно вызывало острую борьбу между «искровцами» и представителями созданной в России соц.-дем. традиции, обыкновенно об'единяемыми кличкой «экономистов». Борьба эта заполнила собою жизнь партии и ее литературу в течение 1901 — 1903 г.г. и кончилась полной и безусловной победой «искровцев», получивших на II с'езде партии (авг. 1903 г.) подавляющее большинство и овладевших почти всеми, к тому времени распространившимися по весьма многим городам, организациями партии.

Эта победа «политического» или «искровского» направления в социал-демократии являлась, прежде всего, выражением того вышеописанного и стихийно-неизбежного пере-

хода рабочих масс к политической борьбе, которому сами «искровцы» способствовали своими энергичными усилиями. Но в то же время эта победа являлась результатом новой мобилизации части интеллигенции под знаменем марксизма и социал-демократии — мобилизации, свидетельствовавшей о росте революционизма в среде интеллигенции и новом усилении в ней доверия к политическому значению рабочего класса. На фоне быстрых успехов рабочего движения, принимавшего характер все более грозной борьбы против старого порядка, «искровцы» могли вести успешно в интеллигентской среде борьбу, как с умеренными и оппортунистическими тенденциями вылупившегося из бернштейнианства демократического либерализма, так и с террористическими и крестьянофильскими тенденциями народнического социализма.

Но этот успех не означал вовсе реализации в полной мере тех надежд, с которыми начала свою кампанию «Искра». Мобилизация интеллигентской демократии вокруг нее была лишь одним из процессов, происходивших в этой питательной среде всех политических движений. Быстрое развитие событий, постоянное возникновение новых источников и русл движения, направленного против старого режима, быстрое разложение последнего и откалывание от него новых социальных слоев — все это обусловливало собою необходимость все дальше идущей дифференциации внутри самой интеллигенции и, рядом с мобилизацией одних ее элементов вокруг социал-демократии, идет мобилизация других элементов ее вокруг социалистов-революционеров, с одной стороны, и «Освобождения» — с другой. При этом, чем дальше, тем мобилизация вокруг двух последних политических центров происходит все быстрее. Таким образом, идейной гегемонией социал-демократическая партия обладает фактически лишь в период первых успехов «искровства»; практическое средство ее проведения — нелегальный орган печати — перенимается и другими партиями, а ее реальное основание — политическая борьба рабочего класса, хотя и продолжает попрежнему импонировать обществу и интеллигенции, но оценивается ими иначе, по мере того, как движения других общественных групп приобретают, в свою очередь, значение реальных фактов в деле разрушения основ старого режима. При таких условиях борьба за удержание в своих руках гегемонии, борьба главным образом, за влияние на демократическую интеллигенцию играет в деятельности «искровцев» заметную роль, поглощая значительную часть их сил.

Задача борьбы за удержание интеллигентской демократии в рядах или под непосредственным влиянием соц.-дем.

партии была в эту эпоху задачей внутренне-противоречивой. Предпосылкой роста влияния и обаяния социал-демократии в интеллигентских массах было быстрое и уверенное развитие политической борьбы рабочего класса, дававшее фактическую возможность социал-демократии становиться могучей нелегальной партией, ведущей за собой самые активные и боеспособные народные массы. Но всякий прогресс политического движения пролетариата давал такой толчок движениям всех остальных классов общества, который создавал новые и укреплял старые центры тяготения для демократии—в ущерб самой социал-демократии. Поэтому, с 1902 г., года возникновения «освобожденчества», успехов политического террора и революционных вспышек в крестьянстве, — «искровцы» стоят перед двумя, одинаково противоречащими их планам, перспективам: либо демократия, вплоть до наиболее плебейских и революционных элементов ее, будет вырвана из-под влияния партии, закреплена за другими партиями, а сама социал-демократия, еще до завоевания политической свободы, будет обречена опираться на силы одного лишь пролетариата; либо она пойдет навстречу запросам революционно-плебейских элементов демократии, сумеет прочно ассимилировать их с собой и свести на нет влияние на них других партий, но должна будет купить эту победу ценою такого приспособления своей деятельности к запросам разношерстной массы, при котором неизбежно пострадают цельность марксистской программы и классовый характер тактики. Так именно стояло дело при начале крестьянского, либерального и террористического движений, когда тяготевшие к социал-демократии элементы интеллигенции явно выражали надежду, что поставившая в центре своей деятельности борьбу со старым режимом партия поддержит террористическую кампанию, пойдет без оговорок навстречу аграрным требованиям крестьян и не выступит против той части интеллигенции, которая примкнула к политическому движению имущих классов.

Удержание интеллигенции такою ценою означало бы для «искровцев» отказ от надежды создать, еще в течение периода борьбы со старым режимом, последовательно социал-демократическую партию, отвергающую всякий компромисс в доктрине и тактике. Оно означало бы, что социал-демократия осуществила именно ту задачу, которую сознательно поставили себе «социалисты-революционеры», пытавшиеся сочетать элементы марксизма и классовой борьбы пролетариата со специфическими тенденциями русского крестьянского движения и традиционной борьбой революционной интеллигенции. На такой шаг «искровцы» пойти не могли,

не отрекаясь от традиций своей партии. Но стоявшая перед ними указанная перспектива заставила их считаться с той стихией интеллигентского движения, которою они постоянно старались овладеть, как со стихией, таящей в себе опасности для правильного развития рабочего движения. И борьба с этими опасностями — с опасностью проникновения в социал-демократию интеллигентских тенденций — и именно крестьянофильства, терроризма и тяготения к тесному союзу с оппозиционными имущими классами—становится одной из главных задач «искровцев» в их деятельности по агитации в рабочих массах и по организации политической партии. Эта забота приводит их, с одной стороны, к нарочито резкой беспощадной критике теории и практики социально-революционной и либеральной партий, к суровому обличению авантюристско-бунтарских тенденций социалистов-революционеров и всяких анти-демократических и оппортунистических поползновений «освобожденцев», к отвержению, как реакционных, всех «чернопередельческих» стремлений крестьянства.

С другой стороны, ощущение этой же опасности толкает партию на путь такой организации своих сил, которая, не препятствуя развитию ее активности и практического влияния на движение непролетарских слоев, обеспечила бы неприкосновенность ее идейных традиций и оградила бы от разлагающего влияния вне-пролетарских движений ее пролетарскую физиономию. Именно постольку, поскольку ортодоксально-марксистская программная и тактическая позиция партии, свободная от всяких компромиссов, являлась не выражением достигшей высшего напряжения борьбы классов — что мы видим в западно-европейских партиях, — но результатом развившегося в сфере теории процесса идейно-политического самоопределения плебейской интеллигенции и борьбы между частями ее, — именно постольку строго последовательная программа и тактика не являлись сами по себе гарантиями неуклонного развития партии по намеченному пути. Этих гарантий приходилось искать в такой ее *организации*, которая обеспечивала бы при всяких условиях победу верно понятых интересов класса над отражающими временное соотношение сил мнениями организованной массы борцов за эти интересы. Крайний централизм и почти неограниченное господство в партии ее идеологов — теоретиков и литераторов — в этом «искровцы» искали ключа к разрешению противоречий положения русской социал-демократии.

Непосредственно тенденции к крайнему централизму и господству идеологов явились прямым продуктом внутри-

партийной борьбы между «политиками» и «экономистами». Стремление последних растворить партию в движении класса и апеллировать к сознанным самими массами потребностям влекло их к подчеркиванию в организации принципов демократизма и самоуправления. Но первое время эти организационные тенденции встречали горячую поддержку в рабочих кругах, инстинктивно опасавшихся вверить судьбу движения в руки теоретиков и интеллигентов и инстинктивно же стремившихся найти арену для проявления классовой самодеятельности в тесных пределах тайной организации. Преодолевая сопротивление «экономистов», державшихся за тип организации, который сложился в период исключительно стачечной агитации и был абсолютно непригоден для расширения движения и перевода его на иные рельсы, «искровцы» выступили в качестве централистов и противников организационного «демократизма». И поскольку защитники последнего апеллировали к самодеятельности борющихся элементов рабочего класса и к его недоверию к руководящим его борьбой выходцам из другого класса, постольку «искровцы» выдвигали принцип замкнутой, заговорщицкой, сверху вниз строющейся и крайне централизованной организации, как не только единственно способной, по их мнению, вести революционную политическую борьбу, но и единственно ограждающей социалистическую партию от оппортунистических давлений той общественной среды, в которой развивается руководимое ею рабочее движение. Эту идею вполне выразил Н. Ленин особенно в блестяще написанном и имевшем громадный успех памфлете: «Что делать?» (1902 г.), в котором он утверждал, что «предоставленное самому себе» рабочее движение неизбежно идет к вырождению в узко-корпоративный тред'юнионизм, а в сфере общеполитической борьбы — тем самым, к подчинению идейному влиянию буржуазного либерализма. Таким образом, Ленин возводил в общий закон рабочего движения факты, почерпнутые из опыта с «экономистскими» увлечениями русских рабочих и с бернштейнианско-демократическими увлечениями с.-д. 90-х годов. Выводом из этого закона являлось для Ленина дальнейшее положение, что социализм вводится в рабочее движение «извне», со стороны теоретически-образованных и преданных рабочему классу единиц. Организация таких единиц, впитывающая в себя, по мере развития рабочего движения, новые единицы снизу, и есть идеальная социал-демократическая партия. Поскольку последняя, в специфических условиях, свойственных России, должна концентрировать свое внимание на революционной политической борьбе и в этой борьбе стремиться к удержанию гегемонии над дру-

гими борющимися силами, — постольку ее организация может быть лишь строго-конспиративной, крайне централизированной, иметь в своей основе группы «профессиональных революционеров», целиком отдающихся революционной деятельности, и руководиться литературным штабом, стоящим на высоте теоретического понимания задач движения. В независимости профессионального революционера от общественной среды, с которой он порвал все нормальные связи, и в теоретической стойкости руководящей литературной группы, Ленин видел залог практического преодоления русской социал-демократией противоречий и трудностей ее положения в неразвитой и, в то же время сочувствующей социальной среде, среди соперничающих с ней за влияние партий и перед лицом политически-неопытного класса. Эта организационная тенденция, проникавшая собой произведения Ленина, сочувственно усваивалась практическими деятелями «искровского периода» и была санкционирована решениями II с'езда партии. Но, идя этим путем, «искровство» приходило к воскрешению в другой внешней форме взглядов, которые в свое время господствовали в революционной среде и с критики которых начала свою деятельность социал-демократия.

Такое положение социал-демократии слишком резко противоречило ее идейной традиции и ее существу, как партии класса, чтобы, рано или поздно, не привести партию к новому внутреннему кризису. И прежде, чем сознание этого противоречия охватило ряды рабочих, еще всецело увлеченных революционной политической борьбой, чтобы задуматься над этими противоречиями, среди самих «искровцев» на самом же II с'езде произошел раскол, под действием которого отныне суждено было развиваться партии. Одновременно с этим расколом от партии отделилась ее довольно значительная часть — еврейский Бунд, восставший против организационного централизма во имя ограждения национальных интересов представляемых ими рабочих.

Эти расколы вновь совершенно дезорганизовали налаженный «искровцами» аппарат партии. Основной же раскол по организационному вопросу послужил исходным пунктом для выделения из идейно об'единенной «искровцами» социал-демократии двух фракций, постепенно занявших противоположные позиции по всем вопросам тактики, выдвинутым развитием событий, и отражавших собою более или менее отчетливо различные тенденции в движении самого рабочего класса. За этими фракциями, сответственно их численному соотношению на II с'езде, укрепились названия «большевиков» и «меньшевиков».

V.

Для эволюции нового народничества, возродившегося к началу1900-х годов, характерным является все большее значение, придаваемое им *крестьянству и крестьянскому движению*. Если борьба с марксизмом в 90-х годах побуждает народников особенно подчеркивать общественное значение аграрного вопроса в России, в противовес выдвигаемому марксистами вопросу рабочему, то с переходом народничества к активной политической деятельности мы, как указано было выше, замечаем у народников (с.-р-ов) тенденцию примкнуть непосредственно к *народовольческой* традиции, дополнив ее опытом рабочего движения. Продолжая подчеркивать кардинальную важность аграрного вопроса в России, социалисты-революционеры первоначально выступают, в качестве политических деятелей, прежде всего, как представители активных форм борьбы со старым режимом, подчеркивающие необходимость сплочения всех общественных сил для этой борьбы и выдвигающие в числе этих сил, как наиболее способные к борьбе, рядом с рабочим классом интеллигенцию. Экономический кризис и политическое возбуждение, занесшие элементы брожения в деревню и обнаружившие как готовность крестьян отдельных местностей к революционным вспышкам (беспорядки 1902 г.), так и относительный успех деятельности групп, за свой страх и риск ведших пропаганду в деревне, побуждают социалистов-революционеров признать задачу систематического воздействия на деревню не только уместной и своевременной, но и имеющей существенное значение. Крестьянство начинает признаваться активной силой, способной сыграть самостоятельную роль в завязывающейся борьбе со старой властью.

При этом новое народничество, под одновременным влиянием русских общественных условий и европейского «кризиса социализма», тесно сплетает в слагающейся системе своих воззрений историческую роль крестьянства, как класса в современном буржуазном обществе, с тою его специфической ролью, которую оно играет в России в силу особых условий исторического развития. Опираясь на ревизионистскую критику марксизма, новое народничество отрицает за рабочим классом капиталистической промышленности преимущественное значение, как фактора борьбы с капитализмом и классовым общественным строем и как сознательной силы, продуктом общественного творчества которой только и должна явиться высшая форма социальных отношений. Напротив, подчеркивается роль мелкого «трудового», т.-е. не эксплоатирующего чужую рабочую силу, крестьянства,

как того общественного слоя, который, в противоположность утверждениям марксистов, отнюдь не безнадежно ведет свою борьбу с капитализмом и в этой, именно, борьбе вырабатывает и развивает такие формы социального быта, которые перерастают его индивидуалистические и собственнические традиции, делают крестьянство способным к усвоению и приспособлению социализма и сами в дальнейшем развитии являются зачатками и зародышами социалистического общественного строя. Это воззрение, признающее вырастание будущей формы общественного строя из защитных органов коллективной борьбы за существование (кооперация в разных видах и всестороннее использование демократического политического развития), создаваемых тем классом, который исторически предшествует капитализму и который, по мнению марксистов, неизбежно обречен, если не на уничтожение, то на постепенное ослабление своего социального значения, — непосредственно примыкает к системе взглядов, защищающихся европейскими социалистическими ревизионистами, а у последних, являвшихся лишь развитием предыдущей теоретической критики революционного социализма, данной отчасти буржуазной наукой, отчасти демократической и анархистской публицистикой. Оно непосредственно приводит социалистов-революционеров, как и европейских ревизионистов, к отрицанию «катастрофической» теории *социального* развития, к подчеркиванию закона органической эволюции в последнем, к отрицанию классового характера социализма, как его понимают марксисты: вырастая экономически и психологически не только из борьбы пролетариев-продавцов рабочей силы с ее покупателями, но и из борьбы одной категории самостоятельных хозяйств с другими и развиваясь органически из социального творчества самостоятельных производителей, социализм *шире*, чем классовая борьба между пролетариатом и буржуазией, он есть не что иное, как синтез идеальных стремлений к общественной справедливости, как она понимается различными категориями угнетенных и недовольных современным строем, к числу которых, рядом с пролетариями и самостоятельными мелкими производителями, социалисты-революционеры относят, в качестве самостоятельного общественного фактора, «трудовую интеллигенцию» — внеклассовую общественную категорию.

Но если социализм вырастает из борьбы мелких производителей в земледелии против капитализма, из общественной формы, которую не породил капитализм, а застал готовою, то такая постановка проблемы социализма имеет особенное значение в России, где крестьянское земледелие еще только

вступает в сферу господства капиталистических отношений и не отлилось еще в типическую для современной цивилизации форму раздробленного хозяйства частных собственников, где капитализм застал еще довольно прочными определенные формы кооперации (община), уже не существовавшие в З. Европе в соответствующий момент истории, и где поэтому еще господствуют в крестьянском сознании правовые и социально-этические нормы, этими формами кооперации порожденные. Таким образом, ревизионистская концепция дает теоретическую санкцию старому народническому положению о русском крестьянине, как специфическом носителе социалистической идеи и представителе зачаточных высших форм социального быта. Держась этой народнической основы, социалисты-революционеры отбрасывают или смягчают в старом народничестве то, что, нося на себе отпечаток принципиального противопоставления русского социального строя западно-европейскому, исключало об'единение народнических стремлений с стремлениями социально-реформистского крыла европейских социалистов и что вступало в противоречие с демократическими требованиями социализма вообще. Таким образом, выдвинувшееся на первый план, особенно в 80-х и 90-х годах, старо-народническое требование *о законодательном закреплении общины*, пред'являемое современному сословно-классовому государству, как неизбежная мера для предотвращения дальнейшего разложения ее, теряет свое значение у социалистов-революционеров и — в меньшей мере — у параллельно с ними эволюционировивших представителей нового народничества в легальной литературе. Не отрицая наличности быстрого разложения общинной формы землевладения и землепользования, и в этом вопросе вернувшись, под влиянием марксистской критики, к позиции классических народников 70-х годов, ново-народничество настаивает лишь на наличности борьбы в крестьянстве между общинными и индивидуалистическими тенденциями, на том, что представителем общинных тенденций является трудовой, не причастный к эксплоатации слой крестьянства (что решительно отвергалось русскими марксистами, подчеркивавшими рост индивидуалистических и мелкобуржуазных тенденций в недрах самого этого слоя не прибегающих к наемной рабочей силе крестьян и антиобщинные стремления сельского пролетариата), и доказывают возможность работать над воплощением этих тенденций в формах кооперации, приспособленных к успешной борьбе с капитализмом и способных к развитию в социалистическом духе. В наличном крестьянском движении социалисты-революционеры подчеркивают, как момент, благо-

приятный для социалистического влияния, его «уравнительные» тенденции, в которых они усматривают отрицание института частной собственности на землю в принципе. В своей программе они требуют *социализации* земли, из'ятия ее из частного оборота и передачи земли крестьянским обществам для распределения ее на началах уравнительного землепользования.

Практическая деятельность социалистов-революционеров, как политической партии, концентрировалась первоначально на террористической борьбе. Под влиянием критики социал-демократов, направлявшейся преимущественно в эту сторону, партия после некоторых колебаний выработала взгляд, согласно которому террор имеет значение лишь средства, облегчающего борьбу народных масс и отнюдь не предназначенного заменить ее собою. Законность применения этого средства для социалистов, чуждых анархистской тактики, социалисты-революционеры обосновывали специфическими условиями русского режима, а его целесообразность доказывали положениями о творческой роли инициативного меньшинства, своим примером развязывающего скованную энергию забитых масс. Естественно поэтому, что и в самой борьбе масс они ставили себе задачу играть роль такого инициативного меньшинства и в течение периода мирных манифестаций (1902 — 1903 г.г.) являлись сторонниками боевой тактики.

Отношение к движению имущих классов вплоть до революционных событий 1905 года определялось у социалистов-революционеров их взглядом на интеллигенцию вообще и русскую в особенности — как на элемент, движимый исключительно идеологическими мотивами и, по существу, внеклассовый. Поскольку известная часть демократически и народнически настроенной интеллигенции организовалась под одним политическим знаменем с либеральной частью имущих классов и поскольку последняя вписала в свою программу демократические и социально-реформистские требования, социалисты-революционеры не только подчеркивали необходимость согласованных действий революционной и либеральной оппозиции, но и склонны были отрицать буржуазный характер последней; с их точки зрения об'единяющим моментом всего освободительного движения являлось не только стремление к политической реформе, но и антагонизм ко всем имущим классам, которые, согласно традиционному взгляду народников, не играют в России самостоятельного общественного значения, поддерживают свое экономическое могущество лишь благодаря абсолютизму и потому являются безусловно реакционными. Такая позиция социалистов-рево-

люционеров обеспечивала им в течение долгого времени сочувствие либеральной оппозиции, которая успехами террористической борьбы пользовалась для пропаганды в обществе идеи необходимости политической реформы, единственно могущей внести успокоение в страну. Взаимоотношение между либеральной и народнически-террористической оппозицией определилось ясно осенью 1904 года, когда состоялась заграницей конференция революционных и оппозиционных партий (партия с.-р., «освобожденцы» и различные национально-революционные и оппозиционные организации). Конференция эта провозгласила общность ближайших демократических задач между собравшимися партиями, независимо от тактических средств, которыми каждая из них ведет борьбу (социал-демократы отказались от участия в конференции).

* * *

Развитие идеологии русской либеральной демократии в 1900-х годах совершается под действием двух факторов: борьбы имущих классов и интеллигенции со старым режимом, с одной стороны, и реакции имущих классов на движение народных масс, с другой. Исходными пунктами развития либерально-демократической идеологии являются, как мы видим, старый земский либерализм и интеллигентский радикализм, прошедший школу легального марксизма. Первый выражал идеологическую связь нового движения с предыдущими оппозиционными движениями имущего общества и его материальную связь с просвещенной частью имущих классов; второй — вносил в движение демократический элемент и стремился выразить об'ективные интересы прогрессивных имущих классов, нуждающихся в эмансипации от старого режима, в свободном развитии производительных сил. Первый был пропитан известной сословно-дворянской традицией и, несмотря на свои народолюбивые тенденции, был решительно антидемократичен и враждебен политической самодеятельности народных масс; второй — усвоил себе до известной степени понимание значения русского рабочего движения, стремился итти в ногу с массами демократической интеллигенции и пропитан духом буржуазного свободомыслия. Взаимодействие этих двух элементов заполняет собою внутреннюю историю русского либерализма.

В течение 1902 — 1905 г.г. либеральные элементы земского, а впоследствии и городского, самоуправления стараются организовать и сосредоточить в своих руках оппозицию местных учреждений систематическому походу бюрократии и втянуть эти органы самоуправления в борьбу с абсолютиз-

мом во имя конституции. На своих, сначала тайных, а затем «явочным порядком» созываемых с'ездах и конференциях земские и городские деятели формулируют ряд требований, направленных к реформе государственного строя и к преобразованию аграрных отношений. Три направления при этом сказываются в земско-оппозиционной среде. На правом крыле — умеренные элементы крупного землевладения, находившиеся в течение ряда лет в оппозиции правительству на почве отстаивания земской автономии и фрондировавшие против протекционистской политики, от которой страдало землевладение, представляли собою консервативно-либеральную группу, воспитанную на традициях земского оппортунизма, абсолютно враждебную всякой революционной борьбе и лелеющую мечту о союзе между властью и землевладельческим классом для обуздания бюрократии. Эта группа являлась не только строго монархической, но и настроенной отрицательно к конституционализму, она не шла далее административной реформы, допускала лишь совещательный земский собор, и тяготела к старой славянофильской идеологии общения царя с землей. Славянофильско-националистический характер ее взглядов и политический консерватизм завоевали ей также симпатии некоторых кругов старокупеческой буржуазии. В центре либерального движения стояли землевладельческие элементы, верные конституционалистским традициям 70-х годов, убедившиеся рядом событий в осуществимости конституционного преобразования России и готовые в известных пределах поддержать движение народных масс и разночинной интеллигенции, но решительно враждебные всякому политическому радикализму, всяким серьезным демократическим требованиям политического и социального характера. К этой группе тяготели определенные элементы чиновничества, имущей интеллигенции и городской буржуазии. На левом фланге либеральной армии группировались наиболее крайние элементы земской оппозиции, утомленные бесплодностью ее оппортунистской тактики, убедившиеся в необходимости широкого народного движения для торжества дела политической реформы и в неизбежности для имущих классов пойти на известные уступки требованиям, в которых заинтересованы народные массы. Тесно спаянные с этим флангом землевладельцев разночинные элементы конституционалистов из городской и земской интеллигенции связывали земскую оппозицию с более радикальными интеллигентскими элементами, которые с 1904 года группируются в профессионально-политические союзы, включающие и революционно-социалистические группы интеллигенции, оказывают

известное влияние на учащуюся молодежь, принимают участие в организации крестьянских союзов и делают некоторые попытки сплотить около себя те слои рабочего класса, которые не идут за социалистическими партиями. Таким образом, организовавшаяся за пределами революционно-социалистических партий к 1905 году оппозиция охватывала разнородные в идейном и политическом отношении элементы, от стремящихся к реформе абсолютистского режима землевладельческих групп до радикально-демократических элементов мелкой буржуазии.

Наиболее активной политической организацией и идейной силой в этом «блоке» разнородных элементов являлся «Союз освобождения» с его органом в Штутгарте. Он поставил себе задачей политически организовать и об'единить либеральные элементы имущих классов и городскую интеллигенцию. Ему и удалось в течение 1902 — 1905 г.г. достигнуть известного сближения этих двух социальных групп на той почве, на которой об'ективно об'единялись их интересы, — на почве требований буржуазного конституционализма. Под влиянием «освобожденцев» землевладельческая оппозиция постепенно — по мере того, как революционные события принимали все более грозный характер,—отказывалась от чисто-олигархических притязаний и принимала ряд демократических требований, тогда как интеллигенция усваивала для себя умеренно-постепеновскую тактику и идейно отмежевывалась от социалистических партий. К моменту известного ноябрьского (1904 г.) с'езда земских и городских деятелей большинство последних приняло решительно-конституционалистскую программу с провозглашением принципа всеобщего избирательного права. В этот момент земская оппозиция, казалось, стояла в центре общественного движения и, через посредство «освобожденских» элементов, могла вести за собой широкие демократические массы. Однако, дальнейший развал старого режима, ускоряемый новыми поражениями на войне, все более грозные выступления рабочих и крестьянских масс и колоссальный успех революционных партий изменили соотношение общественных сил. Требования более демократического характера (учредительное собрание, избирательное право для женщин и т. д.), специальные политические требования пролетариата (свобода коалиций), автономистские требования угнетенных народностей и, особенно, аграрные требования крестьян заявляют о себе все громче в общественном движении и навязываются стоящими за ними организованными силами конституционалистам. В то же время непрерывные революционные вспышки, с одной стороны, побуждают орга-

низоваться и формулировать свои позиции стоявшие до сих пор в стороне группы внутри имущих классов (особенно торгово-промышленного класса), с другой, вызывают в тяготевших к конституционализму слоях имущих классов опасения за свои социальные привилегии и реакционный страх перед дальнейшим развитием рабочего движения. Таким образом, уже в течение 1905 г. мы замечаем два противоположных процесса: с одной стороны — либерально-демократическая оппозиция постепенно передвигается влево, после 9-го января открыто выражает свои симпатии политическим требованиям рабочего класса, прямо или косвенно присоединяется к лозунгу учредительного собрания; ее крайний фланг — «Союз союзов» — высказывается за применение революционого насилия в борьбе за демократический режим, а союз конституционалистов-демократов, несмотря на это и вопреки оппозиции правого крыла, вступает составной частью в эту организацию; в то же время выступившие на путь либеральной оппозиции организации промышленников проявляют готовность признать право на существование за профессиональной и политической организацией рабочих и морально поддержать их демократические требования; кульминационного пункта этот процесс достигает в октябре 1905 г., когда конституционно-демократическая партия высказывает открыто свою солидарность с всеобщей забастовкой, и весь оппозиционный лагерь выдвигает требование политической амнистии и всеобщего избирательного права. С другой стороны, идет, в течение некоторого времени незаметный, процесс дифференциации внутри оппозиции по мере того, как кристаллизируются мнения отдельных групп по вопросам конституционному, национальному и социальному; и одновременно же слои имущих классов—дворянства и буржуазии,— не захваченные оппозиционным движением, начинают организоваться для защиты своих экономических и социальных привилегий против низших классов, частью совершенно в стороне от арены, на которой ведется политическая борьба, частью посылая на эту арену для контр-революционной самообороны черносотенные массы, навербованные из старозаветного мещанства, люмпенпролетариата и других развращенных элементов старого режима.

В результате этого двойного процесса, организованная конституционная оппозиция, еще летом 1905 года, к моменту посылки в Зимний дворец депутации во главе с князем С. Трубецким, выступавшая солидарно, в августе 1905 г. распадается на с'езде земских и городских деятелей. Формальным поводом к расколу явился *национальный* вопрос; во главе с Гучковым, правые элементы имущей оппозиции

выступают против автономии окраин и особенно Польши; но за этой внешностью расхождения по одному вопросу политической программы ясно обрисовывается более глубокая дифференциация, обусловленная самоопределением классовых интересов, и самый национальный вопрос играет роль центрального вопроса идейной борьбы, главным образом потому, что один лишь дает возможность облечь определенные классовые и узко-групповые интересы в идеологическую форму борьбы за «целость России». Ибо раскол уже подготовлен постановкой на очередь дня аграрной проблемы и конституционной реформы и тем, что активная часть оппозиции напором крайних партий и стоящих за ними масс была вынуждена итти на демократический компромисс; подготовлен и тем, что правительство проявляет готовность к сделке и в проекте Булыгинской Думы представляет имущим классам первый серьезный план такой сделки. После же октябрьской полупобеды революции новая полоса крестьянских волнений и попытки рабочих масс использовать выгоды своего политического положения и гегемонию Советов рабочих депутатов для немедленной реализации ряда экономических завоеваний вызывают усиленную контр-революционную мобилизацию дворянского землевладения и заметное усиление контр-революционных тенденций в капиталистическом классе [1]). При этом открытая борьба реальных классовых интересов устраняет туманные лозунги прежних расхождений между славянофильским либерализмом и западническим конституционализмом, чтобы на место их поставить ясные лозунги порядка, собственности и государственной целости: бывшее правое крыло и часть умеренного центра конституционалистского движения (Хомяков, М. Стахович, Н. Львов, гр. Гейден, Шипов, Новосильцев, Петрово-Соловово, Гучков, кн. Львов и др.) организуются в «Союз 17-го октября», по программе национально-либеральный, ведущий борьбу против дальнейшего развития революции и притязаний демократических масс, но конституционалистский и апеллирующий к самобытности русского исторического развития не для того, чтобы пропагандировать, подобно старым славянофилам, внеклассовую монархию и ее независимость от буржуазного парламентаризма, но для того лишь, чтобы подобно германским имущим классам протестовать против последовательного проведения принципов конституционализма всякий раз, как оно грозит дать демократии перевес над имущими

[1]) Впервые происходит открытое отделение капиталистической буржуазии от общедемократического движения на окраинах (Финляндия, Польша, частью Кавказ), отличавшихся наибольшей сплоченностью последнего.

классами; для того, чтобы тесно связать монархическую власть с организованными имущими классами и сделать ее ширмой для их организации.

Рядом с процессом отделения имущих классов от демократического конституционализма идет процесс отмежевания последнего от социализма и революции, поскольку после 17-го октября демократический конституционализм все более укрепляется на позиции отрицания революционного насилия и нелегальных методов борьбы и на позиции компромиссного решения социальных проблем, выдвигаемых борьбой классов.

В процессе этой политической эволюции русского либерализма его идейная физиономия сохраняет тот эклектический характер, который отличал ее в течение периода, предшествовавшего возникновению «Освобождения». Занимая промежуточное положение между борющимися враждебными силами—старым порядком и революционными партиями—и ни на один момент не приобретая в стране положения центра, к которому прямо или косвенно тяготели бы наиболее живые и активные общественные силы, либерализм не дорабатывается до сколько-нибудь законченной системы воззрений, какою обладали социал-демократия и революционное народничество. Метафизический идеализм с его возведением в абсолют либо личности, либо, напротив, общества, продолжает призываться либеральными идеологами на помощь преимущественно в тех случаях, когда дело идет о борьбе с революционными требованиями или методами действия крайних партий, сталкивающимися с интересами представленных либерализмом общественных кругов. Но, служа преимущественно этим реакционным целям и находя своих глашатаев всегда среди представителей наиболее правого, наиболее связанного со старой властью и имущими классами крыла либерализма, идеализм, как только пытается подчинить себе всю политику либерализма, наталкивается на реальные потребности прогрессивных общественных групп, протестующие против слишком глубокого и принципиального размежевания с народными массами и их идеологами в период, когда об'ективная необходимость делает движение последних единственной базой, на которой могут быть реализованы общественные стремления представленных либерализмом классов. Поэтому вплоть до того момента, когда общественное движение достигло своего зенита, русский либерально-демократический конституционализм продолжает пребывать в области политической эмпирии, балансируя между метафизическими лозунгами «естественного права», «правового государства», «прав человека и гражданина»,

«национальной идеи» и т. д., и выводя свою программу и тактику из исторически данного политического положения, созданного вне его стоящими общественными силами. Так, еще в 1901 г., в своем предисловии к «Записке» Витте, Струве, доказывая необходимость появления умеренно-либеральной партии, исходил, однако, из той мысли, что «создать яркое политическое движение... задача все более и более консолидирующейся в России соц.-дем. партии», либеральной же партии предназначал хотя и «крупную политическую роль», но роль, определяемую тем фактом, что «умеренные партии при умелой тактике выигрывают от обостряющейся борьбы между крайними общественными элементами». Так, в 1903 году он же старался доказать либералам, что принципы социал-демократии «совпадают с чистыми идеями либерализма, как политической системы свободы и равенства», и, в виду этого, провозглашал, что русскому либерализму следует занять политическую позицию «не против социальной демократии, а рядом с ней». Соответственно этому лишено было принципиальной обосновки отношение либерализма к революции, к идее патриотизма, к монархическому принципу и народному суверенитету, к вопросу об отношении между церковью и государством.

Лишь по мере того, как развертывалась картина победы контр-революции, и идейная реакция овладевала обществом, в либерализме замечаются более серьезные попытки выработать законченную идеологию, принципиально враждебную идеологии общественных течений, которые выражают исторические движения неимущих классов. В «Полярной Звезде», издававшейся П. Струве после московского восстания, в «Русской Мысли» и «Московском Еженедельнике», а затем в «Вехах» либерализм пытается пересмотреть свое прошлое, оборвать нити, традиционно связывающие его с революционными и социалистическими идеологиями, и конституироваться в систему воззрений, пригодную для *правящего* класса, точнее, для класса, который завтра должен стать правящим и должен доказать свою зрелость в качестве такового. Либерализм пытается стать принципиально-монархическим, националистическим и антидемократическим в своей политической концепции, принципиально контр-революционным—в своих правовых воззрениях, строго индивидуалистическим в сфере экономической и национально-почвенным в своем отношении к государству и церкви. Но и в этой попытке, в силу всего своего положения в борьбе классов в русском обществе, современный либерализм не играет роли движущей силы, а сам движется в этом попятном развитии, подчас приводящем его вождей к полному разрыву

со своими идеологическими традициями, давлением мобилизовавшихся в эпоху контр-революции консервативных групп имущих классов сам получает толчки к самоопределению в данном направлении от своих непримиримых политических врагов — от представителей казенной реакции и официальной церкви. Поэтому «веховская» доктрина принципиально анти-социалистического, анти-демократического и авторитарного либерализма не становится официальной доктриной широких либеральных кругов, лишь усиливая, поскольку оказывает на них влияние, эклектический и противоречивый характер их идеологии.

VII.

Политически-консервативные и социально-реакционные течения в русском обществе в течение всего дореволюционного периода были не в состоянии образовать идеологию, которая могла бы приобрести влияние на сколько-нибудь широкие круги. В период разложения старого порядка, социальные группы, заинтересованные в его сохранении, все более проникаются ощущением безнадежности всякой попытки принципиально обосновать его необходимость и его право на самозащиту, все больше вынуждены фактически опираться на голую силу и, в то же время, все менее способны возвести эту голую силу в принцип и открыто к ней апеллировать. Идеологи бюрократии то хватаются за идею над классами стоящего абсолютизма, призванного регулировать и смягчать совершающуюся в обществе борьбу классов и оберегать интересы разрываемого этой борьбой целого, то пытаются реставрировать идею сословного государства, опирающегося на корпоративно организованные дворянство, крестьянство и духовенство с их историческими привилегиями; то, наконец, претендуют защищать интересы экономического развития, беря под свое покровительство промышленность и торговлю. Отсутствие самостоятельной опоры в нации и, вместе с тем, органическая и бытовая связь с дворянством не дают абсолютизму и его идеологам занять самостоятельную роль в развертывающейся борьбе классов и охватить данным принципом многообразие частных и противоположных интересов, которые им приходится защищать в этой борьбе во имя собственного самосохранения.

Аналогично положение земельного дворянства в его сословно-замкнутой части, которая не разложилась в сложившейся за пореформенный период среде имущих. Оскудевая материально и культурно, земельное дворянство не успело

использовать для подъема своего политического положения привилегий, добытых в течение царствования Александра III, и, напротив, этими самыми привилегиями было еще более закреплено в роли служилой и зависимой от бюрократии касты. Это обстоятельство препятствовало выработке в русском дворянстве предреволюционной эпохи такой сословной идеологии, которая могла бы быть противопоставлена идеологическим системам новых общественных классов в такой период, когда только независимость от отжившей формы государственности и разрыв с нею могли завоевать какой бы то ни было общественной группе влияние и популярность. Еще более зависимость от государства парализовала идеологическую мобилизацию третьей исторической силы — духовенства. Эта зависимость, с одной стороны, препятствовала более культурной и прогрессивно-настроенной части духовенства занять самостоятельную и влиятельную позицию в движении тех общественных кругов, которые могли бы чувствовать потребность в том, чтобы покрыть свои социальные стремления оболочкой религиозной идеи. Попытки отдельных интеллигентов (религиозно-философское общество, журнал «Новый Путь», часть кантианцев-«идеалистов») наметить сближение между историческим православием и буржуазным либерализмом не имели, поэтому, абсолютно никакого значения за пределами тесных интеллигентских групп, а попытки Гр. Петрова и некоторых других прогрессивных священников «обмирщить» господствующую церковь, приблизить ее к потребностям и этическим запросам народных масс и пропитать ее проповедническую деятельность социал-реформистским и гуманистским содержанием разбивались о сопротивление бюрократии и о противоположность экономических интересов между приходским духовенством и крестьянской массой. С другой стороны, у высшего и монашествующего духовенства не хватало сил для того, чтобы использовать общественное брожение и развал старой государственной организации для водружения знамени независимого от государства клерикализма. Рядом с коррупцией и утратой самостоятельности, явившимися результатами вековой бюрократизации церкви, здесь играли роль внутренние противоречия в самой церковной организации, противоречия между ее верхами и ее низами, вынуждавшие верхи церковной иерархии предпочитать рабскую зависимость от бюрократии той организации приходского духовенства, которую дала бы всякая церковная реформа, хотя бы и совершаемая под клерикальным знаменем.

Борьба старого режима за существование вызвала одну лишь попытку выработать новую идеологию, которая могла

бы быть противопоставлена напору революционных идей. Реагируя непосредственно на опасности классового рабочего движения и столкнувшись с ним впервые в конце 90-х годов, в момент относительного затишья среди других общественных классов, абсолютизм пытался отвести это движение в русло сотрудничества с представителями старого порядка и оторвать его от всякой связи с оппозиционными и революционными течениями. На этой почве зародились идеология «независимого социализма» — приспособленной к русским условиям социально-реакционной рабочей демагогии. В течение всего предреволюционного пятилетия перед нами проходят попытки организовать под знаменем «независимого социализма» часть городского рабочего класса, и его борьбу против капиталистов использовать для того, чтобы сплотить его около социально-реакционных общественных групп. От Зубатова и Шаевича до Ушакова и Гапона эти попытки поддерживаются авантюристской частью бюрократии, высшего духовенства и дворянства.

Основное отличие этой попытки от аналогичных предприятий в западно-европейских странах (как Австрия и Германия), откуда пример и был заимствован слугами русского абсолютизма, заключалось в том, что в упомянутых странах реакционная анти-капиталистическая демагогия могла опираться на внутренние противоречия среди самой той трудящейся массы, которую требовалось оторвать от социализма и революции. Прежде всего — на противоречия конфессиональные, которые, напр., в Германии сыграли существенную роль в успехе социально-реакционной демагогии. Но значительно важнее был тот факт, что в этих странах в рабочее и демократическое движение с самого начала были втянуты рабочие и самостоятельные хозяева *мелкой ремесленной промышленности*, которых дальнейшее развитие капитализма ставило в двойственное положение, создавая безысходное противоречие между социально-революционными и демократическими идеалами, с одной стороны, и групповыми интересами, с другой; здесь, именно, реакционная демагогия находила рычаг для того, чтобы оказывать влияние на трудящиеся массы и, опираясь на все более поворачивающие в сторону идеалов средневековья массы разоряемых ремесленников, она могла уже итти ко всему рабочему классу с более или менее стройной идеологией христианско-монархического «национального социализма». Особенности русского общественного развития, благодаря которым не только социализм, но и идеи свободы и демократии пришли в народные массы через современную крупную промышленность городских центров, обусловили, между прочим, и то,

чго социально-реакционная демагогия, в отличие от западно-европейской, не могла выразить в себе ни одного идеального момента в настроении тех масс, к которым она обратилась, чтобы ослабить влияние на них социал-демократии. К рабочим крупной промышленности нельзя было и незачем итти с пропагандой сословно-корпоративной организации трудящихся, с идеалом превращения рабочего класса в одно из основных сословий реставрированного христианского государства, с реакционным протестом против распространения крупной промышленности. Соответственные мотивы и вытекающие отсюда проекты восстановления цехов или создания производительных ассоциаций, поэтому, играли лишь второстепенную роль в деятельности русских «независимых». Центр тяжести своей пропаганды им пришлось перенести непосредственно в область боевых вопросов капиталистической промышленности и, опираясь на критику революционного социализма, данную буржуазными и социалистическими реформистами, предлагать мирное и в союзе с стоящей над классами государственной властью осуществляемое решение этих вопросов. Союз абсолютизма, духовенства и пролетариата против буржуазии и интеллигенции — такова была единственная сколько-нибудь широкая идея, до которой представители старого режима доработались в течение предреволюционного периода в процессе борьбы за ограничение власти. Ее истинным отцом был бывший революционер, потом провокатор и чиновник охраны С. Зубатов, в лице генерала Трепова она нашла влиятельного покровителя; среди деятелей православной церкви и представителей науки (Озеров, Янжул) она встретила кое-какое сочувствие. Но из видных идеологов реакции лишь один (тоже бывший революционер), Лев Тихомиров, принял ее в серьез и открыто защищал ее и, среди ее активных пропагандистов, лишь один — священник Гапон — несмотря на свою первоначальную зависимость от полиции — фанатически увлекся ею на время и мог сообщить своим адептам известный энтузиазм. Влиятельные дворянские и бюрократические круги после короткого периода заигрывания с «независимыми» отшатнулись от этой демагогии, овладеть которой они не чувствовали себя в силах на данной стадии развала старого порядка; да и тесная связь между капиталистическим землевладением и верхами крупной промышленности оказывала свое влияние. Поэтому, развитию «независимой» демагогии с самого начала были извне поставлены довольно тесные пределы, а ее полицейское происхождение и полицейские цели, в числе прочих ею преследуемые, слишком подчеркивались для того, чтобы позволить ей приобрести влияние на незаинтересо-

ванные непосредственно элементы. При таких условиях, вырождаясь в одном направлении в простую новую форму сыска и провокации, деятельность «независимых» в другом направлении должна была вскоре же капитулировать перед логикой той борьбы, в которой они стремились принять влиятельное участие и кончить — в лице Гапона — решительным разрывом с абсолютизмом. После 9-го января различные попытки реставрировать «полицейский социализм» уже заведомо являлись мертворожденными.

Но именно 9-ое января, вынесшее окончательно революционное движение на улицу, дало толчок к самостоятельным реакционным движениям в народных низах, и эти движения показали правящим группам, где они, без опасности для собственного господства, могут искать опоры в борьбе с революцией. В лице наиболее некультурной части нашего купечества и мещанства, искони живущей маклачеством и кулачеством и оставшейся чуждой тем новым потребностям, которые породил капитализм и которые заставляли все другие слои городской буржуазии сохранять, по крайней мере, нейтралитет по отношению к освободительному движению и выжидать момента для эксплоатации его завоеваний; в лице выбитого из всякой производительной колеи мещанского люмпенпролетариата, разоряемых капиталистической конкуренцией мелких ремесленников, монашествующего духовенства, кулацких элементов деревни и наиболее обезличенной режимом части низшего чиновнического и полицейского персонала, реакция нашла свою «черную сотню», худшие элементы которой в развале общественного порядка увидели повод к удовлетворению грубо-хищнических и грабительских инстинктов, наименее же развращенные элементы, устрашенные непонятной для них ломкой, оказались способны воодушевляться идеей борьбы за устои старой России. Частью стихийно вспыхивавшая, частью искусственно подогреваемая провокацией, волна погромных выступлений привела черную сотню коренной России в соприкосновение с аналогичными общественными элементами окраин, где уже с начала столетия (Кишиневский погром) происходил тот же процесс концентрации реакционных элементов городских и, частью, сельских низов. Острота племенных и вероисповедных антагонизмов позволила здесь черносотенным элементам раньше выйти из состояния общественного небытия, облечь свои, частью просто хищнические, частью бессмысленно-реакционные вожделения в оболочку национализма и «борьбы за православие» и выработать кадры демагогов, сыгравших затем видную роль в руководительстве всем контр-революционным движением. Постепенно это черносотенное движе-

ние формировало свою собственную идеологию патриархального абсолютизма, опирающегося на «русских людей» — на организованные сословия — тесно связанного с церковью, идеологию, отвергающую всякое культурное общение с Западом, всякое сближение русского народа с другими имперскими народностями и об'являющую последним ожесточенную войну, как носителям капиталистической культуры и революционного духа.

По мере того, как оппозиционные или колеблющиеся до 1905 года группы имущих, запугиваемые классовой борьбой и развитием революции, укрепляются на контр-революционной позиции, черная сотня становится главной боевой силой в борьбе всех этих групп за восстановление порядка. Бюрократия, высшее духовенство, крупное и среднее землевладение и консервативные группы буржуазии (в лице «Союза 17-го октября») сближаются с черносотенными организациями и оказывают им моральную и материальную поддержку. Чем далее, однако, подвигается процесс «успокоения», и чем яснее вырисовывается об'ективная сущность нового режима, как облеченного в полу-конституционную форму господства землевладельческого дворянства, тем более черносотенные силы попадают в зависимость от этого последнего, тем более стремление «Союза русского народа» сохранить известную независимость от бюрократического правительства, чтобы образовать своего рода опричину, непосредственно связывающую власть с «русскими людьми», эксплоатируется сословно организованной земельной аристократией для того, чтобы внепарламентским давлением балансировать курс правительственного корабля, вынужденного считаться с веяниями конституционно-настроенных верхов буржуазии и с соображениями международной политики. Но подчинение черной сотни организованному дворянству и бюрократии, поскольку последняя идет с дворянством, вносит в монархические организации разлагающие начала и содействует дифференциации их составных элементов. Социально-демагогическая струя в деятельности «союзников» местами принимает опасный для правящих групп характер, когда они не безуспешно пытаются (особенно в местах с инородческим составом поместного класса) привлечь симпатии крестьян перспективами земельного переворота, который осуществит в пользу «русских людей» царская власть, или когда черносотенное духовенство (Илиодор и др.) пытаются поддерживать фанатизм «русских людей» и создать опору для клерикализма обличениями имущих и смутными обещаниями в духе христианского социализма. По мере того, как для реакционеров исчезает необходимость в этих социально-дема-

гогических элементах, как физической силе, дворянско-бюрократическая тенденция одолевает в черносотенных организациях тенденцию анархическую, и, вместе с тем, исчезает почва для специфической идеологии черной сотни, которую заменяет более откровенно, чем в 80-х годах, выраженная казенная идеология союза бюрократии с дворянством, не скрывающая своих симпатий к крепостничеству, рассматривающая самый абсолютизм и национальную идею, как орудия обороны одного сословия против экономического и политического прогресса, и традиционно покрывающая материальное и культурное бессилие этого господствующего сословия идеей «служения» государству.

III. Народничество прежде и теперь.

I.

«После реформы 1861 года, рассказывает один из новейших народников [1]), раскол сразу определился, и западнический лагерь распался на две партии: радикальную и либеральную. Так-называемые радикалы, обратив главное свое внимание на социальное и экономическое положение народа, отнеслись крайне скептически к реформам 60-х годов и к пробудившейся деятельности интеллигенции. Реформы они считали совершенно недостаточными и неправильно направленными, так как материальные нужды народа ими не только не были удовлетворены, но в некоторых случаях даже усугублены. Деятельность же общества они считали мизерной и бесплодной, до радикального решения социального и экономического вопроса они не считали возможным поднять умственный и нравственный уровень «народной жизни». В дальнейшей эволюции из радикального лагеря вышло народничество».

Итак, радикалы отнеслись крайне скептически к «великим реформам». Крупнейший представитель литературы 60-х годов еще прежде завершения реформ довел свое скептическое к ним отношение до сомнения в том, желательны ли они вообще [2]). Исходным пунктом народнического направления является скептицизм по отношению к великим реформам, а, между тем, современный народник В. В. уверяет нас, что в основу этих реформ был положен народнический принцип [3]).

---

[1]) С. Ан-ский. Очерки народной литературы. „Русское Богатство“, 1892 г. № 7.

[2]) См. об этом у С. Ушакова „Несколько слов в защиту экономич. материализма“. „Русск. Мысль“, 1896 г. № 8.

[3]) „Влияние народнического течения общественной мысли привилегированного класса выразилось в положении 19 февр. требованием (sic!) обязательного выкупа“ и пр. В. В. „Интеллигенция и произв. класс в России“, стр. 12.

Пламенная юношеская вера идеалистов-просветителей, так характерно окрашивающая первые годы эпохи реформ, сменяется мало-по-малу сначала холодно-насмешливым, потом все более злобным, раздраженным скептицизмом. По мере того, как переходная эпоха реформационной ломки уступила место «органическому» строительству, и старое «взбаломученное море» входило в свои новые берега, те общественные элементы, которые в первый период верили в начало века разума, теперь оглядывались с некоторым недоумением на слагавшийся новый строй и обращали против него свою иронию. Уже в самый разгар реформационных увлечений резкий «свист» Добролюбова и Чернышевского вносил некоторый диссонанс в хор ликующих, являясь предвестником будущего раскола. Ближайшие преемники идеалистов 61-го г. увидели себя и свои идеалы в противоречии с тем ходом, какой принимала жизнь новой, созданной «великими реформами» России. Сначала робко, потом резче к концу 60-х и началу 70-х годов берет в русской передовой литературе верх это отрицательное направление. Щедрин, Успенский и Михайловский являются его главными выразителями к началу 60-х годов.

Реформа 61-го года и последовавшие за ней создали новую Россию, Россию железных дорог и банков, просвещенного бюрократизма и либерального земства. Идеологическим знаменоносцем этой новой России явилась либеральная партия (насколько у нас можно употреблять вообще последний термин), дававшая тон тогдашнему обществу и литературе. Славословие «великих реформ»—эта специальная забота современных народников лежала тогда всецело на либералах. Они же, по словам С. Ан-ского, оказывались в числе осуществителей реформы. Реформами 60-х годов был сделан громадный шаг в направлении полной культурно-социальной европеизации страны. Частичная экспроприация крестьянства и выкупная операция составляли материальный базис этой европеизации, создав условия для развития товарного производства. Кредит и железные дороги являлись могучими орудиями в этом преобразовании экономического строя. В то же время реформы земская, городская, судебная и др. видоизменяли правовые надстройки на экономическом фундаменте. Социально-экономической европеизации России соответствовала ее культурно-политическая европеизация. Но в то время, как переворот в области социально-экономической совершался быстро и неуклонно, в значительной мере благоприятствуемый интересами тех общественных сил, которые были унаследованы от старого режима (бюрократия, старое привилегированное общество), евро-

пенизация в области культурно-политической, встречая задержки в интересах тех же слоев, которым она грозила умалением шла порывисто, туго, путем компромиссов. Новое, созданное реформами общество, заинтересованное в широком всестороннем развитии этих надстроек на экономическом базисе, явилось прогрессивным осуществителем реформ; отсюда— его идейная окраска, его либерализм. В состав этого нового общества входили передовые элементы быстро поднимавшейся буржуазии [1]), рядом с которыми стояли представители «интеллигенции», т.-е. свободных профессий, всецело заинтересованные в беспрепятственном расцвете всех надстроек буржуазного общества: адвокатуры и независимой магистратуры, свободной науки и свободной печати, всестороннего представительства, также, как рациональной промышленности и рационального сельского хозяйства. В. В., утверждающий, что ныне «личный, материальный интерес» интеллигенции делает ее народнической, очевидно, признает, однако, что в ту пору интеллигенция в общем была настроена иначе [2]) и возлагала свои надежды на развитие национального богатства.

Являясь наиболее образованным классом общества и вместе с тем классом, не принимающим непосредственного участия в общественном производстве, а, стало быть, и не задетым непосредственно борьбой между участниками этого производства, интеллигенция наиболее способна понимать интересы капиталистического общества в его целом, ставить себе такие цели, которые соответствуют интересам наиболее быстрого всестороннего развития этого общества [3]). Вот почему, в каждый отдельный момент интеллигенция буржуазного общества обыкновенно стоит на стороне той программы, которая наиболее полно выражает интересы всестороннего развития капитализма.

Исторической задачей первых десятилетий по освобождении крестьян было заложить прочный фундамент *капиталистического* развития страны всеми средствами первоначального накопления. Интеллигенция в ее большинстве становится идейным выразителем этой потребности буржуазного

---

[1]) Героями бытовых романов того времени (Боборыкина, Станюковича, Смирновой) являются по преимуществу буржуазные дельцы либерального направления.

[2]) „Мы ждали, что капитализм возвысит производительность национального труда" etc. „Интеллигенция и производительный класс в России", стр. 21.

[3]) Об этом. см. в весьма интересных статьях Каутскаго „Об отношении интеллигенции к рабочему классу", „Neue Zeit" 1894-1895 г. [по русски издавались неоднократно под названием „Интеллигенция и социал-демократия"].

общества внести товарное производство во все пункты общественного хозяйства. Буржуазности либеральной интеллигенции вполне соответствовал либерализм буржуазии, сознававшей свой антагонизм с еще живыми остатками умершей эпохи. «Культурное общество», ядро которого составляла интеллигенция, было, таким образом, почти сплошь окрашено либерализмом, и типические черты этого либерализма были: наклонность к манчестерству, некоторое свободмыслие и некоторый национализм на ряду с довольно плоским, вульгарным материализмом [1]).

В. В. с большим удовольствием отмечает трогательное единение современного культурного общества и его интеллигенции во всех существенных внутренних вопросах [2]). Предшественники современных народников тоже говорили об единстве культурного общества, но отмечали они это единство без всякого удовольствия: они характеризовали это общество, как общество буржуазное, и этим самым *констатировали свое отщепенство от этого общества.* Наша литература, читаем мы в «Отеч. Зап.» 1871 г. [3]), «уже давно представляет собой литературу буржуазно-филистерскую, даже вопросы старого времени, поднимаемые ею, она понимает вовсе не в том смысле, в каком они понимались тому лет 10 назад, напр., вопрос о реальном образовании. Нет сомнения, что либерально-буржуазное общество у нас нарождается, и современная либерально-буржуазная литература есть его полнейший выразитель. Не должно обманываться, когда по некоторым частным вопросам литература показывает анти-буржуазное направление, это не что иное, как непоследовательность, недоразумение, а иногда нечто гораздо худшее этого. Надо смотреть на все в целом; все ее стремления и *требования в политике и экономии* [4]) представляют собой полное воплощение политического и экономического либерализма».

В том же 1871 году Щедрин по поводу одного, наделавшего много шуму судебного процесса, давшего повод многим либеральным органам печати проявить свое, так сказать, потенциональное холопство, писал следующие желчные строки [5]).

---

[1]) См. в статьях Михайловского того времени („Дарвинизм и оперетки Офенбаха", литературные и журнальные заметки 1872—74 г.).

[2]) Цитированная статья, стр. 7.

[3]) № 10. Статья под заглавием „Литературные заметки".

[4]) Курсив в подлиннике.

[5]) „Отеч. Зап." 1871 г. № 9. Статья подписана М. М. Этими же буквами означены некоторые статьи, помещенные в Полн. Собр. Соч. Салтыкова, напр., „Сила событий" (о франко-прусской войне) [Имеется в виду процесс Нечаевцев].

«Существовало мнение, что литературу нашу раздирают междоусобия, что деятели ее готовы грызться друг с другом даже из-за выеденного яйца. Теперь это мнение, по крайней мере, относительно вопросов существенных, оказывается положительно ложным. Какой, в самом деле, самый существенный в настоящую минуту вопрос для России? Это, несомненно, вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка и к отделению от государства обширных частей (Сибирь) и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений— все это возбуждает в публике толки и опасения. И вот литература наша, в качестве верного отголоска публики, и с своей стороны вооружается против грозящего зла; она понимает, что ей предстоит очень важная миссия, и смело становится на высоту своего призвания». Следуют совершенно однородные по содержанию отзывы в данном процессе таких различных органов, как «Моск. Вед.», «С.-Пет. Вед.», «Бирж. Вед.», «Голос» и «Вестн. Евр.»

«Что означает этот факт, спрашивает Щедрин, он означает, что литературное междоусобие есть... медоусобие мнимое; что литературные наши органы, будучи совершенно согласны по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность, лишь по недоразумению разногласят относительно некоторых подробностей, имеющих второстепенное значение»... «Существовало еще другое мнение: что русская литература не вся и не вполне благонадежна, что некоторые ее органы фрондируют и подкапываются... Теперь журналистика наша смыла с себя и это позорное клеймо, доказав свою благонадежность самым доказательным и непререкаемым образом».

Щедрин отмечает единство общества и литературы, он видит, что эпоха «Sturm und Drang'а «новейшей русской истории окончилась и что вышедшее из нее общество вырабатывает ничуть не менее твердые и благонадежные устои, чем те, на которых стояло старое общество. Он это констатирует — и поздравляет общество и его литературу.

Та общественная среда, настроение которой отражал отмеченый нами скептицизм, представляла также интеллигенцию. Но эта интелигенция была преимущественно разночинской, она была всецело создана великими реформами. Ее отрицательное отношение к совершавшемуся на глазах ее «естественному ходу вещей» буржуазного общества пита-

лось непосредственно картиной тех народных бедствий, которые влекло за собой победоносное шествие капитализма. Если уже в 60-х годах радикалы, по выражению С. Ан-ского, «обратили главное внимание на социальное и экономическое положение народа» и «отнеслись крайне скептически к реформам», находя их недостаточными и неверно направленными, то к началу 70-х годов это скептическое направление оформилось, и представители его привели в причинную связь «великие реформы» с их оборотной медалью — разложением крестьянства и ростом его нищеты. Фактический ход социального развития России очевидно для них влек за собой разрушение той экономической организации, с которой они еще в 60-х годах связали свои надежды на осуществление идеалов братства и равенства. И они, видя, что каждый шаг социально-политического прогресса (как он совершается) наносит новый удар этой экономической организации, стали во враждебное отношение к этому прогрессу и правильно его квалифицировали, как прогресс буржуазный, а общество, складывавшееся на развалинах крепостного строя, как общество «либерально-буржуазное». Если картина народного разорения возбуждала в одной части разночинской интеллигенции отрицательное отношение к буржуазному прогрессу, то подпочвой такой отзывчивости ее в известном направлении, несомненно, служила вся та историческая обстановка, в которой происходило развитие капитализма [1]). В стране, только-что освободившейся от мертвящих уз крепостного права, быстрое, ускоряемое потребностями бюрократически-милитарного государства, развитие капиталистического производства сопровождалось целой массой бедствий; больше, чем когда-либо, страна страдала не столько от развития капитализма, сколько от его столкновения с пережитками крепостного права и с убожеством полунатурального хозяйства. Вместе с тем, в этот период развития капитализма должны были получить особенное влияние и силу представители денежного капитала, и первые шаги капиталистического развития ознаменовались картинами финансовых оргий и торжеством высших слоев буржуазии, соединившихся с приспособившимися представителями старого привилегированного общества и полуобновленного государства. И если нравственое чувство интеллигента-пле-

[1]) „Литература и образованная часть общества знают, что и материальное, и политическое развитие, на путь которого мы вступаем, будет полезно и выгодно только известной части общества, а народу не только не поможет, на даже поставит его в худшее положение". (Из лит. и журн. заметок 1872 г. Соч. Михайловского, т. I, стр. 773).

бея глубоко возмущалось «безнравственностью» ажиотажа и спекулятивной горячки [1]), то обострение материальной нужды всех тех слоев общества, на которых не сыпался золотой дождь покровительства (благодаря вздорожанию жизни в быстро разраставшихся городах, росту потребностей, вызываемому ростом национального богатства и его накоплением и высших слоях общества), — создавало *почву для неудовлетворенности.* К числу таких общественных слоев принадлежала и демократическая часть интеллигенции, разночинец [2]). Те идеальные плоды социальной европеизации страны, в которых всего больше была заинтересована эта часть интеллигенции, не достигались в желательной степени, буржуазное «общество» удовлетворялось жалкими компромиссами с представителями старой России, «великие реформы» оставались недоделанными... И если сознание этой демократической интеллигенции не могло, поэтому, удовольствоваться плоским либерализмом пенкоснимателей, то отмеченное нами обострение материального положения этого «умственного пролетариата» вырабатывало в нем способность скептически и критически отнестись к буржуазному прогрессу и почувствовать себя солидарным с тем классом, который всего больше страдал от этого прогресса, с крестьянством, с «народом» [3]). Как социальный слой, эта часть

---

[1]) Выражение этого негодования разночинца можно наблюдать в популярных в то время романах Михайлова (Шеллера), Бажина, отчасти Станюковича. Филистеров-публицистов это негодование приводило иногда к своеобразному диагнозу европейских болезней. „В западных государствах биржевая игра и ажиотаж поглощают громадное количество сбережений народного труда, и, если бы не эта язва новейших обществ, то неистощимые средства такой страны, как Франция, и предприимчивый и практический ум населения Англии давно бы дали возможность развязаться с вопросом о пролетариате, который представляет собой печальное наследие, полученное этими странами вследствие косности их исторического развития в продолжение предшествующих веков (?!), другими словами, вследствие слишком упрямого отстаивания консервативными элементами своих привиллегий" „(Отеч. Зап.", 1875 г. № 10 А. Головачев „Мысли вслух").

[2]) Интересно, что идея кооперации, пропогандировавшаяся „радикалами 60-х годов, была применена массой интеллигенции в своих материальных интересах, как средство ослабить действие указанных выше факторов, обострявших ее материальное положение. Потребительные общества стали создаваться в конце 60-х годов в большом количестве, так что в каком-нибудь ничтожном Чернигове их было два! Практическое направление этих обществ характеризуется тем, что большинство из них сочло невозможным принять в свою среду рабочие артели, просившие о вступлении в число членов". См. „Кооперация на русской почве", „Отеч. Зап." 1873 г., № 2.

[3]) Этого, конечно, не следует понимать так, что каждый либерал был непременно обеспеченным буржуа, а каждый радикал-народник

интеллигенции познавала оборотную сторону медали цивилизации, которой лицевая сторона исключительно видна была крупной буржуазии и ее теоретикам и сикофантам; как слой культурный, интеллигентный par excellence (по преимуществу), она обладала способностью особенно легко претворять материальное недовольство в идеальную неудовлетворенность, смотреть на свои классовые бедствия с широкой точки зрения общественных, народных интересов. Вот почему идеологические представители крестьянских интересов получили возможность обращаться к широким слоям разночинской интеллигенции — не к группе идеалистов, а к целому слою «культурного общества», пред которым они иной раз доказывали невыгодность «естественного хода» вещей для него самого. Раскол между представителями двух направлений прогрессивной литературы, в котором «радикалы» противопоставляли себя единому «буржуазно-либеральному» обществу, опирался, таким образом, на существование в самом культурном обществе слоев с противоположными интересами, на антагонизм общества пенкоснимателей с разночинским интеллигентным пролетариатом.

Рассмотрим теперь несколько ближе, какое принципиальное отношение установилось среди народников 70-х г.г. к социально-политической эволюции русского общества. Первые две книги «Отеч. Зап.» 1873 г. произвели, по словам Михайловского, значительную сенсацию в русской печати, как консервативной, так и либеральной. Либералы, очевидно, еще не отдавшие себе отчета в совершившемся «расколе», были очень шокированы «Благонамеренными речами» Щедрина, «Больною совестью» Успенского, а также некоторыми статьями Михайловского и Скабичевского. Во всех этих статьях они усмотрели совершенно справедливо скептическое отношение к «прогрессу» вообще и к некоторым частным вопросам развития буржуазного общества и, между прочим, заговорили о реакционности такого направления. Михайловский отвечал резкой статьей, в которой выясняет точку зрения Щедрина, Успенского и вообще «Отеч. Записок» [1]). В упомянутом очерке «Благонамеренных речей» трактовалось о женском вопросе, и тон статьи поставил в недоумение многих читателей: казалось, что Щедрин враждебно или рав-

---

непременно впроголодь живущим разночинцем, что либералами становились адвокаты с практикой, а радикалами „неустроившиеся". Социальный характер известной партии не предопределяет социального положения всех ее членов.

[1]) „Отеч. Зап." 1873 г., № 3 „Журнальные и литературные заметки" (т. I полн. собр. соч., 1896 г.).

нодушно относится к женскому движению [1]). Комментируя точку зрения Щедрина, Михайловский поясняет: «Щедрин недоволен настоящим положением женского вопроса, потому что женщины стремятся укрепить всем своим персоналом существующий порядок вещей». Итак, вопросы буржуазного общества мало интересны для народника; всякий из этих вопросов, каких бы симпатичных частных задач он ни касался, грозит, при либеральном его решении, закрепить слагающийся буржуазный строй, украсить и облагородить его и, таким образом, подвинуть страну на лишний шаг от «зародышевого» состояния.

Да, от зародышевого! «В известной фазе развития зародыши весьма различных организмов весьма схожи между собой, так что, по уверению натуралистов, не всегда легко сказать, какие именно формы должны развиться из данного зародыша: так и с нашим громадным зародышем — Россией».

То, что Михайловскому казалось зародышевым состоянием общества, было на деле начальной стадией развития товарно-капиталистического производства. Игнорируя это обстоятельство, можно было представить себе страну в состоянии tabula rasa (чистой доски) и не считаться с отношениями ее (зародышевых) классов. А между тем в «Больной совести» Гл. Успеского были ярко изображены типические стороны этого «зародышевого» состояния по сравнению

---

[1]) Вот что говорит Щедрин: „Скажите, какой вред может произойти от того, что в С.-Петербурге, а, быть может, и в Москве явится довольно компактная масса женщин, скромных, почтительных, усердных и блюдущих казенный интерес, которые, встречаясь друг с другом, вместо того, чтобы восклицать „bonjour, chère mignonne! какое вчера на princesse N платье было!„— будут говорить: „А что, mesdames, не составить ли нам компанию для защиты Мясниковского дела?“. Оказывается, что никакого вреда не будет, и даже, быть может, выиграют разные „основы“. „Но, кроме того, я уверен, что тут-то именно, т.-е. в среде женщин, которым *позволено*, я и нашел бы для себя настоящую опору, настоящих столбов! Не спорю, есть и между мужчинами много столбов, но, ради Бога, разве мужчина может быть настоящим, т.-е. пламенеющим, исполненным энтузиазма столбом? Нет, он и на это занятие смотрит равнодушно, зная, что оно ему разрешено искони и что никто его права быть столбом не оспаривает. То ли дело столб, который сам еще хорошо не знает, столб он или нет, а потому и пламенеет, славословит и изъявляет желание сложить жизнь! И за что сложить жизнь? За то только, что ему было „позволено“ быть столбом наравне с мужчинами. Ну, просто дозволили бы — и делу конец! Разумеется, если бы меня спросили, достигнется ли через это „дозволение“ разрешение так, называемого „женского вопроса“, я ответил бы: не знаю, ибо это не мое дело. Если бы меня спросили, *подвинется ли хоть на волос вопрос мужской* (курсив наш), тот известный вопрос об общечеловеческих идеалах, который держит в тревоге человечество, я ответил бы опять-таки: „не знаю, ибо это не мое дело“.

с вполне сложившимся строем западно-европейских обществ, и художник-публицист близко подходил к признанию *качественной однородности* этих двух состояний общества. Задавши вопрос: где лучше, у нас или на Западе?—и взяв для сравнения некоторые характерные явления в жизни нашей и западно-европейской, Глеб Успенский решил: «Нет, у нас лучше», отворачиваясь от вполне развитых социальных противоречий со всеми их последствиями в законченном капиталистическом обществе и скрываясь под сень идилии *тех же* отношений в России. Но в то же время грустная ирония, проникающая весь этот очерк, позволяет думать, что автор готов был усомниться, точно ли «у нас лучше». Выступив в защиту Успенского от обвинения в славянофильстве, Михайловский дает любопытный комментарий к его очерку, прямо заявляя, что в том «зле и свинстве» западно-европейской жизни, о котором говорит Гл. Успенский, есть и нечто хорошее, именно, что там «каждый» шаг сознателен» [1]), и противопоставляет этой сознательности солдата Кудиныча (у Успенского), который бил и черкесов, и поляков и про всех их отзывается, что это чудеснейший народ. Успенский находит, что «европеец в каждую минуту может на своем знамени написать такое словечко, которое ему дороже жизни, а русский человек, вообще говоря, этого сделать не может».

Поясняя мысль Гл. Успенского, Михайловский замечает, что «в Европе люди или вовсе не говорят серьезно о той или другой доктрине, о тех или других интересах, том или другом деле, или же отдаются ему целиком в положительном или отрицательном смысле, т.-е. или ненавидят его всем сердцем, либо кладут за него жизнь свою. И если у кого из этих европейских людей даже не хватит разума и фактических знаний для отличения предметов ненависти от предметов любви, то им подскажет самое их положение, что нужно делать и говорить. У нас не то. Не то, что Достоевский, а такой, можно сказать, прожженный человек, как Скальковский, и тот вдруг ни с того, ни с сего об'являет, что содействуемая им торговля и промышленность ведут к нищете, преступлениям и проч. А блеснув, таким образом, социализмом, вновь возвращается к содействию» [2]). «Конечно, и там

---

[1]) Михайловский, т. I (1896 г.), стр. 896.

[2]) В новейшее время „мы“ в лице В. В. не прочь порадоваться этой игре „прожженных людей“. „Всякий сколько-нибудь прогрессивный орган печати одной из своих задач считает защиту интересов народного производства, и такое отношение к вопросам крестьянского хозяйства очень резко проявляется даже в органах, не имеющих определенного направления и, пожалуй, даже мало принципиальных“. А вот и об'яснение этого казуса... „Все вышеизложен-

(в Европе) очень много избивается черкесов, но зато их там чудеснейшим народом не считают, да и фактическая разница не велика: чудные черкесы и у нас в конце концов избиваются» [1]). Но если избиение черкесов есть conditio sine qua (обязательное условие) обоих обществ, то, казалось бы, предпочтительнее такое состояние, когда «каждый шаг сознателен», когда «если у кого и не хватит разума для отличения предметов ненависти от предметов любви, то им подскажет самое их положение, что нужно делать». «И, конечно, такое состояние предпочтительнее для самих черкесов, ибо одно из двух: будущий Кудиныч либо перестанет бить черкесов, хоть вы его самого убейте, либо будет бить его, как вреднейшего человека и кровного своего врага. Будущий Скальковский будет либо содействовать, либо только указывать на зловредность содействия. Будущий «гражданин» будет только либо проклинать социализм, либо только возлагать на него надежды. *Действительный, жизненный, кровный личный интерес прикует их крепко-накрепко к тому или другому образу мыслей и действий*» [2]). Сделать отсюда, казалось бы, напрашивающийся сам собой вывод о том, что развитие социальных противоречий подвинет общество к их разрешению,—сделать этот вывод было невозможно для народника 70-х годов. Положение тех общественных групп, интересы которых отражались на его идеях, должно было обостряться с каждым шагом экономического развития; и для самостоятельного производителя-земледельца и для разночинца-интеллигента развитие капитализма означало порабощение капиталом. Только-что констатировав, что и в зародышевом состоянии данные противоречия влекут за собой то же зло, что и в развитом, Михайловский начинает отыскивать своеобразные преимущества того же зародышевого состояния: так, например, при отсутствии резкой определенности общественных отношений, самая строгая цензура иной раз действует «врассыпную», в западно-европейском же обществе, при известных условиях, отсутствие цензуры не гарантирует от закабаления печати баронам биржи.

ное свидетельствует о том, что хотя капиталистические отношения и выгодны для массы нашего привилегированного общества и интеллигентные представители последнего, охотно пользуясь всеми выгодами привилегий, как люди, не примиряются с ней, как граждане государства, не служат ей, как своему кумиру". (В. В. „Интел. и производительный класс в России", стр. 17 — 18). Как видит читатель, мы имеем здесь социологическое применение старой мысли, что лицемерие есть последняя дань, воздаваемая добродетели пороком.

[1]) Сочинения, т. I, стр. 899.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 902.

«И уж эта цензура не промахнется, она задушит именно то, что стоит поперек дороги баронам биржи, и даст ход именно тому, что им требуется. С чисто психологической стороны, с точки зрения больной совести это лучше, потому что люди знают, по крайней мере, чего хотят, чего не хотят, во что верят, во что не верят. Но с точки зрения социологической, неопределенность нашего зародышевого состояния оставляет, по крайней мере, надежду, что нам пойдет в прок пример старших родичей, что мы сумеем обуздать (!) своих журналистов, когда им придет мысль продаваться с аукционного торга, что мы вовсе обойдем эту непривлекательную ступень цивилизации. Конечно, этой надежде неизменно сопутствует опасение, что и нам не избежать некоторых мерзостей западно-европейских цивилизаций; *доброта Кудинычей сама по себе ни малейшей гарантии не представляет*»[1]). Интересно, что в изображении неудобств свободы печати Михайловский стоит всецело на точке зрения интеллигенции. Действительно, ей — этой интеллигенции — и ее печати развитие капитализма грозит закабалением «баронам биржи» ее литературы; литература того общества, в котором она «принята», сплошь и рядом оказывается скованной золотыми цепями. И Михайловский, стоя в этом специфически «интеллигентском» вопросе исключительно на точке зрения интеллигенции, как бы и не знает вовсе, что та же свобода печати означает расцвет, материальный и идейный расцвет печати другой части нации, для которой развитие капитализма и его надстроек, поэтому, сулит ослабление сковывающих ее железных цепей... Если доброта Кудинычей сама по себе ни малейшей гарантии не представляет, то в чем преимущества зародышевого состояния? в чем уверенность, что мы сможем избежать некоторых «непривлекательных ступеней развития?» Народник-энтузиаст старался искать этих гарантий в «общине», в артели, в «природной» наклонности мужика к коллективизму. Критика Михайловского, сметая «доброту» Кудинычей, повидимому, замахивалась и на эти сакраментальные слова, относившиеся к экономическому строю, психологическим выражением которого служила доброта и — увы — простота Кудиныча. Действительно, в этот период своей литературной деятельности Михайловский старается представить наше зародышевое состояние прежде всего, как tabula rasa. Позднее, в 75-76 г.г., в его статьях все резче проявляется упование на зачатки «высшего типа развития», якобы существующие в народе. Пока же он удовольствовался упованием, что из «социологи-

[1]) Курсив наш. Михайловский, т. I (1896), стр. 900.

ческого зародыша» может при известных условиях выйти «желательная» общественная форма.

Надежда эта социологически вполне законна, ибо «так как всякие наши предвидения и размышления о будущем необходимо осложняются чисто суб'ективными элементами, надеждами и опасениями», то вопрос о том, в какие формы отольется зародыш, «сводится к тому, какие формы развития желательны для нашего зародыша» [1]). При решении этого вопроса картина западно-европейской жизни должна предостерегать нас от шествия по неправильному пути. «Если мы видим, что, например, известная комбинация обстоятельств порождает в Европе резню, то какой, с позволения сказать, чорт потянет нас к этой комбинации? Конечно, мы постараемся обойти, должны, по крайней мере, стараться изо всех сил и можем отступить только перед заведомой неизбежностью» [2]). Т'к как наши рассуждения о будущем «должны» носить суб'ективный характер, то всего проще открыто принять «суб'ективный метод» и конструировать желательный, идеальный ход развития для нашего зародыша. Начав с указаний на то, что в этом зародыше заметны многие черты, общие и развитому западно-европейскому обществу, что добродушный Кудиныч и жестоковыйный французский прокурор, избивающий туземных черкесов,—представляют типические фигуры по существу однородных обществ, мы, чтобы прийти к желательному выводу о возможности нового пути, неизбежно должны стать на архиутопическую точку зрения и, отказавшись от исследования, в какую сторону *в действительности* развивается общество Кудинычей, признать возможным для этого общества движение по любому пути, и для «нас» полное право выбирать любой. Для доказательства социологической законности нашего выбора создается «суб'ективный метод».

По мнению В. В., «жизненность» современного народничества доказывается его практичностью, которая уживается в нем с «идеальными и, быть может, даже утопическими представлениями» [3]). В цитируемой статье Михайловского мы имеем налицо один из двух признаков — утопизм. Но с «практичностью» дело обстоит иначе. В другом очерке тех же «заметок Михайловского [4]) находим такую характеристику «практической» точки зрения в отличие от «теоретической» (которая у Михайловского была утопической): «Наиболее характеристическая черта практической

[1]) Сочинения, т. I, стр. 901.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 902.
[3]) „Интеллигенция и производ. класс в России", стр. 18.
[4]) Сочинения, т. I, стр. 678.

точки зрения состоит в уважении к условиям, среди которых приходится решать данную задачу... Иногда, например, условия задачи признаются просто хорошими и не нуждающимися ни в каком обновлении, иногда стихийно-неизменными, иногда, наконец, просто о достоинствах и недостатках наличных условий не говорится вовсе, и, следовательно, их законность подразумевается» и т. д. Когда князь Васильчиков и другие, «не удаляясь от задачи ни на один шаг», рекомендовали в пользу крестьянства разные меры, вроде мелкого кредита и пр., то стоявшие на «теоретической» точке зрения сотрудники Михайловского по «Отечеств. Зап.», восставали против этих мер, анализируя их буржуазный характер [1]). Противопоставление своей точки зрения — точке зрения практической вытекало из сознания, что развитие общества в направлении его естественной тенденции укрепляет его в его буржуазном виде и отдаляет от «зародышевого состояния». Задача «теоретика» сводилась к тому, чтобы из наличного состояния — при пособии субъективного метода — выскочить на новый путь, и условия, среди которых приходилось решать эту задачу, нельзя было «уважать», с ними приходилось считаться лишь в отрицательном смысле: они должны были указывать на то, чего следовало избегать в будущем. Утопизм исключал «практичность» и вызывал некоторое презрение к той точке зрения, которая считается с условиями подлежащей решению задачи. Утопизм народнической литературы 70-х годов вытекал неизбежно из того обстоятельства, что она отражала интересы класса, которому экономическое развитие грозило уничтожением. Но та часть народников, которая нас, главным образом, интересует и взгляды которой выражались в «Отечественных Записках» и других подобных органах, отражала интересы крестьянства сквозь призму представлений и предрассудков разночинской интеллигенции. Другая часть народников (крайнее крыло) совершенно порвала с интеллигентным обществом и этот разрыв доводила даже подчас, как известно, до отрицания науки и интеллигентности, являясь уже чистой выразительницей интересов крестьянства. У этих народников утопизм проявился в крайней идеализации крестьянства, в приписывании ему «природного» коллективизма; они не могли остановиться на представлении о России, как о tabula rasa, и считали ее, напротив того, совершенно зрелой; порывая совершенно с обществом, они могли считать свои стремления осуществимыми, лишь веря, что инстинкт (если не сознание)

[1]) См. статью „Наш народный кредит", „Отечественные Записки" 1874 г. № 11.

народа влечет его в сторону их идеалов. Эти крайние элементы народников [1]), как всего менее представленные в тогдашней журналистике, мы оставляем в стороне, тем более, что наши теперешние противники не могут зачислить их в число своих предков [2]), наоборот, как справедливо замечает А. Санин, «из их среды вышли, через несколько промежуточных стадий, и новейшие антагонисты народничества» [3]). Для этих энтуазистов дело шло, действительно, о том, чтобы «потонуть в сермяжной массе», примкнув к уже имевшемуся, по их мнению, в наличности народному течению. Михайловский же своей задачей ставит указать образованному обществу, а задачей последнего — усвоить известный рецепт для избежания мерзостей западно-европейской действительности. Чтобы отличить «плевелы» от «пшеницы», он рекомендует помнить «закон антиномичности всех благ цивилизации: в обществе, имеющем пирамидальное устройство, всевозможные улучшения, если они направлены не непосредственно к благу трудящихся классов, а ко благу целого, ведут исключительно к благу верхних слоев пирамиды. Понятия о благах цивилизации весьма элементарны: всякий знает, что железная дорога лучше проселка, что свобода лучше произвола, что знание лучше незнания и т. д. Все эти блага и берите... Все это пшеница, но помните, что она, точно в руках фокусников, мгновенно обращается в плевелы, как только направлена не непосредственно на благо трудящихся классов» [4]). Не буду здесь останавливаться на подробном разборе этой чрезвычайно типичной тирады, носящей столь яркую окраску прудонизма [5]). Нас здесь интересует одна специфическая черточка этой программы. Читатель согласится, конечно, что последняя предоставляет решающую роль в деле будущего развития страны интеллигентному обществу, которому предстоит взвесить «антиномичность» цивилизации, отобрать «хорошую сторону» и применить ее к tabula rasa русской действительности. В этом мы видим следы происхождения на-

---

[1]) [Имеются в виду народники-революционеры].

[2]) Несколько лет тому назад, С. Кривенко, говоря об этих идеалистах, признал более плодотворной деятельность какого-то немецкого садовника Шмита, учившего уму разуму соседей мужиков, которые от него переняли какие-то улучшенные способы производства.

[3]) „Несколько замечаний по поводу теории народного производства", приложение к книге Гурвича, стр. 11.

[4]) Т. I, полное собрание сочинений, 1896 г.

[5]) Отсылаю читателя к „Нищете философии", стр. 95. Ирония Марксовской характеристики прудоновского метода, полвека тому назад данной, попадает целиком в Михайловского.

родничества от интеллигенции в обществе, расчлененном на классы. Общественное разделение труда выделяет известный слой, в котором по преимуществу концентрируется «духовная» деятельность нации. В этом слое (а в капиталистическом обществе главный элемент этого слоя составляет «интеллигенция») борьба материальных интересов общественных классов отражается в наиболее идеалистической форме, столкновение *интересов* доходит до него в виде вытекающих из этого столкновения конфликтов *идей*, а являющиеся в результате классовой борьбы перемены в юридических надстройках — представляются коренящимися в психической эволюции «национального сознания» (носителем которого, по преимуществу, является этот слой), сопутствующей и предшествующей этим переменам. Отсюда — специфическая склонность данного общественного слоя к идеалистическому воззрению на историю. В наиболее чистом виде этот идеализм проявляется в построениях, подобных учению Миртова (Лаврова), о процессе осуществления идей, зародившихся в мозгу критически-мыслящей личности.

Осложняясь духом, пронизывающим все поры общества с неразвитыми классовыми противоречиями и соответственно тому с сильно развитой деятельностью государственной машины, этот идеализм принимает вид своего рода бюрократической идеологии, в представлении которой социальные метаморфозы являются в виде соответствующих «мероприятий», а литературный стиль принимает тот канцелярский характер, которым мы наслаждаемся в произведениях В. В. и Николая-она [1]).

II.

Зависимость идей рассматриваемого крыла народничества от представлений и положения в обществе разночинской интеллигенции ближайшим образом обусловила его дальнейшую эволюцию. Являясь составным элементом интеллигенции, разночинец был всецело обязан своим существованием эпохе «великих реформ», положившей прочное начало всесторонней европеизации страны и тем создавшей условия для процветания интеллигенции («свободных профессий»); являясь наиболее *демократическим* элементом интеллигентного общества, разночинец мог стать в антаго-

[1]) Уже после того, как была закончена эта глава, мне привелось прочитать в августовском № „Мира Божия“ (библиографич. отдел, рецензия книги г. Тернера, 1897 г.) интересную характеристику народнического бюрократизма, с которой, в общем, можно согласиться.

низм с этим обществом, поскольку оно шло на буксире крупной буржуазии, которая, руководя делом европеизации, налагала на нее печать господства плутократии, сильно обостряла процесс разложения деревни и доводила до minimum'а реформу верхних надстроек. Все эти моменты питали резко-отрицательное отношение разночинской интеллигенции к буржуазному характеру реформации, но самая ее принадлежность к обществу, связанному узами кровных интересов с этой самой реформацией, делала это отрицание неустойчивым. Реформы совершались не в том об'еме, как этого желал разночинец, совершались зачастую при попирании наиболее дорогих для него принципов, но все же совершались, и каждая новая реформа отчасти утешала его тем, что осуществляла хоть небольшую часть из его pia desideria (ведь, что ни совершалось в «зародышевом» состоянии, а на своих боках интеллигент чувствовал, что реформы отдаляют его от угрюм-бурчеевщины), а с другой стороны — подчеркивала его бессилие, как представителя демократических взглядов. Но вместе с тем каждая реформа все более упрочивала слагавшийся на глазах разночинца «либерально-буржуазный» строй, и для него, говорившего об осуществлении своих идеалов «теперь или нескоро, быть может, никогда», для него, сознававшего, что каждый шаг в направлении дальнейшей реформации означает удаление от «зародышевого состояния», — каждая новая реформа означала новый удар его чистому отрицанию, ослабление уверенности в возможной перемене «курса». Являлась потребность приурочить осуществление своих стремлений к несомненно упрочившемуся пореформенному строю, являлась смутная склонность считаться с «внешними условиями задачи». Эта склонность была тем сильнее, чем более привязывал к себе разночинца-интеллигента пореформенный строй, который каждым шагом своего развития делал интеллигенцию все более необходимым общественным элементом. Десятилетие реформ делало свое дело и привязывало разночинца к окружавшей его среде, пока еще незаметными, но крепкими узами... Разночинец переставал быть тем неустойчивым продуктом разложения старого общества, который, не будучи крепко связан с конкретной общественной реформацией, способен возвыситься до верхов социального идеализма и увлечься самым крайним отрицанием. И в то время, как психология интеллигента преобразовывалась в направлении большей «практичности» и меньшего утопизма, в то время, как яд буржуазного прогресса помрачал «общечеловеческую» чистоту его идей, неуклонно совершалась параллельная эволюция в этой деревне, интересы которой слила с своими разночинская интеллиген-

ция. Развитие товарного производства, удалявшее крестьянство от того состояния, в котором его застала реформа 1861 г., и сопровождавшая это развитие кристаллизация мелкобуржуазных элементов, отраженным образом влияли на сознание народников. Сельское население выходило из того, несколько хаотического и праздничного настроения, которым сопровождался крупный переворот в его жизни и которое питало до известной степени иллюзии народников [1]), и на смену ему водворились «деревенские будни» с все яснее обозначавшимися, совершенно практичными стремлениями главной массы крестьян. И исчезновение крестьянского «романтизма», и ослабление духа отрицания в разночинской интеллигенции действовали на народничество в одном направлении, как две силы, созданные одной и той же основной причиной. Прежняя задача — вывести крестьянство одним прыжком из данного его состояния на новую дорогу заменялась более практической — в пределах данных, порождаемых буржуазным прогрессом, условий обеспечить интересы этого крестьянства. Толкаемая в сторону практичной постановки задач своими собственными интересами, интеллигенция становилась способной в чистом, беспримесном виде отразить те стремления, которые все более и более должны были упрочиваться в деревне и возвести эти стремления в идеал. Соединяясь с основными мотивами идеалистического народничества, новые нотки слышатся в народнической литературе средины 70-х годов все чаще и чаще. Стремление стать прочно на почву фактического развития проявляется, напр., уже в «Письмах из деревни» Энгельгардта (начали печататься в «От. Зап.» в 1873 г.), проповедующих воплощение правды и справедливости на почве наемного труда. Мы остановимся на наиболее ярком образце нового течения, в котором как нельзя рельефнее обнаружилась сущность новых, еще неясных, стремлений народничества стать «практичным».

Излагая историю крестьянской реформы, Г. З. Елисеев [2]) подходит к тому моменту, когда губернские комитеты уста-

---

[1]) Позднее Златовратский характеризовал это крестьянское настроение первых годов после освобождения названием „романтического". Это настроение сказалось прежде всего в форме упований на „правду и милость", которая должна была с этого момента притти ему на „помощь". Утопист-народник, отрешившийся в свою очередь от иллюзий романтической эпохи, старается убедить „общество", что в этом романтизме не было ничего неблагонамеренного, что он, этот романтизм, признавал священными все успехи буржуазного общества (Златовратский: „Очерки деревенского настроения", „Рус. Мысль" 1884 г. № 1).

[2]) „От. Зап." 1874, № 1 и 2, ст. Грыцько „Крестьянская реформа".

навливали нормы надела, и по этому поводу делает следующую экскурсию в область высших принципов экономической политики:

«Собственность во всех сферах человеческой деятельности служит наилучшим возбудителем полного напряжения сил, всей энергии и труда в трудящемся. Но, может быть, нигде и никогда она не производит таких чудес, как в земледелии». Иллюстрируя это положение цитатами из Артура Юнга, Гакстгаузена, Милля и, наконец, Мишле, идеализирующего буржуазные добродетели французского крестьянина, наш автор продолжает:

«Но может быть еще более, чем культура земли, должно пострадать моральное развитие народа в стране, где массы теряют прочное образование в средствах жизни. В этом отношении воспитательное значение собственности и именно только вполне обеспеченной собственности, — ничем незаменимо». «Раз крестьянин сознает, что он стоит на корню, что его материальное благосостояние находится в его собственных руках, он уже поставлен этим самым в умственном и нравственном отношении сравнительно с другими простыми работниками на такую высоту, которая достижима, быть может, только для немногих из последних».

Рассматривая социальную категорию не так, как она воплощена в действительности, a an und für sich, как категорию логическую, метафизик видит «благо» там, где в жизни получается нечто непривлекательное. Приведенная тирада означает, что в обществе, основанном на наемном труде, самостоятельный, владеющий хотя бы мнимой собственностью, производитель-крестьянин выделяется из общей массы трудящегося люда на такую высоту, с которой с презрением смотрит на пролетария и враждебно относится к стремлениям последнего, и которая сближает его с мастером в уцелевшем ремесле.

«Это уже не простой рабочий, — продолжает наш автор, — который машинально делает то, что ему укажут, которому нет дела до того, чем заняты другие (?), которому все равно, что бы из его работы не вышло [1]). У него является естественная гордость не ударить в грязь лицом перед другими, не повести хозяйства хуже других и, вместе с тем, пробуждается естественное усилие узнать: как и что делается у других, поучиться, позаимствовать лучшее, одним словом, пробуждается любознательность и наблюдательность».

Идеализируя такие мелкобуржуазные добродетели кре-

[1]) Г. Южаков, узнаете вы свое „дифференцирование труда в отвлеченную категорию“?

стьянина, как инстинкт конкуренции — плод изолированного его хозяйства. и отрешаясь совершенно от фактических условий развития капиталистического общества, которое лишь медленно подтачивает косность и невежество крестьянина, автор забывает прибавить, что, «спеша заимствовать лучшее» у других, его хозяин заинтересован в том, чтобы другие у него его лучшего... не заимствовали.

«Недаром же замечают (?), что английский рабочий, у которого отнята мысль иметь собственность, стоит по сметке и сообразительности гораздо ниже рабочих континентальных стран (!)».

«Та же самая гордость заставляет хозяина — беден он или богат — довольствоваться своим достатком... Это стремление быть обязанным всем самому себе порождает в нем расчетливость и бережливость»,—венец солидных добродетелей мелкобуржуазного филистера. «Как батраки и вообще люди, не имеющие обеспеченного хозяйства, не заботятся о будущем и тратят все свои заработки» (сберегайте! сберегайте! — кричит мелкий буржуа пролетарию, недовольному своей участью), «так, напротив, земледельцы-собственники склонны к совершенно противоположной крайности; их бережливость переходит в скопидомство». «Но это зло еще не важное, хотя такое скопидомство и превращается иной раз в кулачество... Кулачество между вполне обеспеченными крестьянами может быть только явлением исключительным... а скопидомство, большей частью, не только безвредно, но иногда даже и полезно, по пословице «скупость не глупость»: замечено, что крестьяне во всех странах копят свои деньги для того, чтобы прикупить землицы». На глазах читателя совершается преображение идеолога «здорового крестьянства» в обыкновенного мелкобуржуазного филистера. Результаты накопления тратятся нашим мужиком на покупку землицы. Ну, а если землицы будет более, чем сколько может быть обработано рабочими силами семьи? Не найдется ли тогда помещения для приложения сил нерасчетливых батраков и прочих лиц, не заботящихся о будущем? Для мелкобуржуазного теоретика «обеспеченное крестьянство» в товарно-капиталистическом обществе не выделяет из себя в силу необходимых причин этот нерасчетливый класс. Впрочем, его совесть готова успокоиться на том, что кулачество остается «исключением».

«Одним словом, создайте только бережливого, т.-е. имеющего собственность крестьянина и вы поднимете нравственность народа на неизмеримую (!) высоту в сравнении с тем, что есть хоть бы у нас».

Исходным пунктом социальной политики народника те-

перь является уже не социальный зародыш, из которого можно возрастить любой идеальный плод, ни, тем менее, проникнутый общинным духом народ, стремящийся осуществить свой «прирожденный» коллективизм. Нет, опустившись с облаков утопии на грешную землю, наш народник оказывается поющим песнь торжествующей на развалинах архаического крестьянского быта мелкой собственности. Взамен идеализации инстинктов и обычаев, создававшихся этим архаическим бытом, мы приходим к идеализации новых стремлений и инстинктов создаваемых его разложением. Но с этой нашей метаморфозой связана коренная перемена в отношении к буржуазному прогрессу, к которому мы стояли спиной еще так недавно. Главный из устоев общества, создаваемого этим прогрессом, мы теперь принимаем и освящаем, влагая в него «демократическую» душу; далекие от отрицания частной собственности, мы являемся едва ли не самыми фанатическими ее сторонниками, связывая с ее судьбой судьбу—шутка ли!—народной нравственности; вместо отрицания буржуазного общества в его целом, мы постулируем логически-мыслимые условия, при которых оно могло бы процветать, не развивая всех ведущих к его гибели противоречий. Мы становимся «практичными» [1]), мы начинаем не только «уважать», но и освящать «внешние условия» подлежащей решению задачи. Вместе с тем создается почва, на которой возможно наше сближение с «либерально-буржуазным обществом» во всей красоте его дворянско-бюрократических наслоений. Стоя на одной с ним основе, мы можем попытаться склонить составляющие его классы принять нашу программу, а противоречащую ей политику в прошлом и настоящем об'явить делом их непроницательности [2]). Позабыв

[1]) Эта практичность не исключает утопизма, который проявляется в этом случае в измышлении лишь логически мыслимого состояния общества, основанного на частной собственности и лишенного всех составляющих его „природу" противоречий. „Практичность" же таких планов заключается в том, что они, в противоположность первоначальной народнической утопии, исходят из данного, конкретного состояния общества, не помышляя о полном с ним разрыве.

[2]) Говоря о непонимании высшими классами необходимости создать обеспеченное крестьянство, Елисеев замечает: „Если бы это происходило из исторической вражды сословий, с этим еще можно было бы мириться; была бы причина, но у нас этой причины, благодаря бога, нет. Если бы это происходило из тонких расчетов своекорыстия, с этим можно было бы мириться, ибо кто себе враг? Но и этого нет". Очевидно, все это „могло произойти только от недомыслия, крайней ограниченности, совершенного непонимания своих прямых выгод". „Недомыслие и ограниченность, а никак не злобство" и буждали помещиков требовать обезземеления крестьян хотя бы ценою серьезных смут.

об «антиномичности» всех благ цивилизации, мы выдвинем гармонию между высшими и низшими классами «общества, имеющего пирамидальное устройство». После странствований по безбрежному морю утопий, народнический корабль вступал в гавань практичности под флагом грошовой буржуазной морали [1]).

III.

Предвосхищая в своей буржуазной законченности будущие стадии развития народничества, статья Елисеева являлась пока (в 70-х годах) единичным явлением. К характеризующему ее филистерству народничество должно было притти после долгого плавания между Сциллой утопизма и Харибдой практичности.

Как многие другие утописты, русские народники старого времени отличались индифферентизмом к вопросам «политики». Еще Чернышевский противопоставлял либералам «демократов», которые якобы равнодушны к политическим формам. Отрицательное отношение к вопросам политической европеизации страны диктовалось народнику убеждением в том, что она происходит в «либерально-буржуазном» направлении и отдаляет нас от зародышевого состояния [2]). Это отрицательное отношение могло заводить и заводило народника иногда в очень неприглядные места. Отрицание

[1]) В нове"шее время Михайловский, неоднократно вспоминая о Елисееве, подчеркивает то, что его практический ум приводил его часто к рискованным и двусмысленным заявлениям. Его практичность, по словам Михайловского, была и его силой, и его слабостью. Таково, прибавлю, противоречие, присущее практическому уму каждого утописта, который не свел счетов с противоречиями действительности, в которой он желает проводить свои идеалы.

[2]) Вот красноречивое изложение этого убеждения: „Для общечеловека", для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена мыслей и пр. И мы желаем этого, конечно. Но, если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для нас (интеллигенции, Ю. М.) роль яркого и ароматного цветка, мы не хотим этих прав и этой свободы. Да будут они прокляты, если они только не дадут нам возможности расчитаться с долгами, но еще увеличат их" (Михайловский, Из литературных и журнальн. заметок 1873 г. Сочинения, т. 1, стр. 869), Говоря об отношении народников к политическому прогрессу, мы, само собой разумеется, не разделяем лежавшей в основании его склонности видеть в политических учреждениях причину социальных перемен. Там, где мы видим лишь *симптом* достигшего известной зрелости социального развития, народник иногда усматривал *первопричину* его.

буржуазного прогресса могло — при неустойчивости основной точки зрения—привести к признанию солидарности народничества и народа с теми общественными силами, которые противились европеизации страны [1]).

Выше указано, как развитие буржуазного общества и его надстроек, чем дальше, тем крепче привязывало к нему демократическую интеллигенцию и отнимало у нее почву для прежнего отрицания. Это последнее должно было исчезать тем сильнее, чем резче стали выступать к концу десятилетия притязания старых социальных сил—наследие умершей эпохи,—грозивших лишить страну и тех плодов европеизации, которые казались уже прочно привившимися. Перед лицом оживавшего Угрюм-Бурчеева естественно должны были стушеваться противоречия одинаково ему враждебных слоев нового общества. Народническая интеллигенция вынуждалась признать свою заинтересованность в дальнейшем развитии верхних надстроек нового общественного строя, ею самою еще недавно и вполне правильно характеризовавшегося, как строй буржуазный. Таким образом, народник оказывался в вопиющем противоречии со всем своим миросозерцанием. Пытаясь оформить новые стремления и связать их с еще неотвергнутыми основными положениями, народник чувствовал себя весьма не по себе. В то время, как старая точка зрения видела в политическом процессе завершение процесса превращения зародышевого состояния общества в законченно-буржуазное, разочарование в возможности сделать при данных условиях хоть что-нибудь и настоятельная потребность всего культурного общества в очищении сгустившейся атмосферы толкали именно в направлении сочувствия этому прогрессу.

---

[1]) Так, напр., у того же Михайловского: „Экономическое зерно социализма не представляет у нас в России ничего революционного, так как большинство нашего народа владеет продуктами своего труда и достигает этого при помощи ассоциации — поземельной общины. Между тем, совершенно неосновательные показания и рассуждения вроде тех, которые делает Достоевский (о том, что основа социализма в атеизме. Ю. М.) пугают общество и извращают истину. Это ведет к множеству печальных результатов, из которых мы отметим хоть один: нечаевское дело. Если бы социалистические учения у нас не инсинуировались без толку, и русское общество и, в особенности, русская молодежь имели возможность понимать и здраво обсуждать их, то Нечаев, как представитель Международного общества рабочих, собрал бы очень небольшую жатву. Русская молодежь могла бы ответить на все его искушения: я могу сочувствовать или не сочувствовать Международному обществу рабочих в Европе, но в России ему *делать нечего*. Революционный в Европе, социализм в России консервативен". „Отвращение к политике", как к делу буржуазному, конечно, иначе выражалось у народников крайнего крыла.

Сознание этого противоречия отражается в нижеследующих строках народнического журнала:

«Когда он (интеллигент) бросился в народную стихию и вздумал поднять на себя всю тяжесть океана народной скорби, он забыл, что он не больше, как ничтожный пигмей в сравнении с этим океаном, что его вооружение — картонный донкихотский меч и картонные латы... Стремление вступить с этой дилеммой (т.-е. дилеммой или сложить руки, или «захлебнуться в волнах народного горя») в компромисс привело к самоубийственной работе Сизифа, к наполнению бездонных бочек Данаид. Пусть, наконец, шевельнется совесть в тех руководителях общественного мнения, которые и теперь еще продолжают рекомендовать интеллигентному человеку эту самоубийственную борьбу, борьбу путем компромиссов, погубившую безрезультатно так много умственных и нравственных сил. Пусть, наконец, прояснится общественное сознание из-под этого тумана компромиссов и сознает интеллигенция, что никогда ей не сделать ничего для «народного вопроса», пока она не решит прежде всего свой вопрос, вопрос о правах ума и образования, пока не вооружится она оружием, соответствующим той великой задаче, которую она хочет решить». Пусть не верит она ни на минуту тем лицемерным советникам, которые настойчиво рекомендуют ей «служить народу» при тех средствах и орудиях, какими располагает интеллигенция теперь, которые ежедневно сочиняют для нее массу «проектов» в народолюбивом смысле, одни другим противоречащие, рекомендуя их, как истинно-полезное поле деятельности в пользу народа. Не верьте им, не верьте: Они затянут вас в паутину компромиссов и задушат, как пауки.

«Мы, народники, мы, последовательные общинники, мы, которых преимущественно зовут народолюбцами,—мы заявляем, что прежде «народного вопроса» должен быть решен вопрос интеллигенции, вопрос об элементарнейших правах умственного и нравственного ценза!» («Народный вопрос», Оранского. «Русск. Богат.» 1880 г., № 6).

Страстный вопль измученного сердца «последовательного общинника» не мог закрыть противоречия между основной точкой зрения и новыми симпатиями. Статья Оранского вызвала иронические поздравления либералов, указавших на разрыв народников с прошлым. Либералам в том же «Рус. Богат.» отвечал Л. Алексеев [1]).

«Мы готовы согласиться с Л. Полонским, что его полку

[1]) „Русс. Бог." 1880 г., № 12 „Почему вскипел бульон, и почему мы теперь только обращаем на это внимание"?

прибыло. «По крайней мере, в настоящее время» нам с ним по дороге, что не значит, однако, будто наши дороги будут всегда одни. Из этого, действительно, явствует, что «по крайней мере, в настоящее время» Полонский может считать нас своими союзниками. Но союзниками могут быть люди не одного знамени. И вовсе не явствует, что мы либералы. Если мы вместе едем в Москву, где вы останетесь, а я поеду дальше в Саратов, то это не значит, что я еду в Москву, как и вы». «Мы, преимущественные народники, считавшие свои пути диаметрально противоположными путям либералов, теперь думаем, что до известной границы и в известном смысле эти пути тождественны. Нам и либералам по дороге, но цели у нас с ними разные, а в этом вся суть».

Но, если вся суть в целях, и если эти последние различны у народников и либералов, то желательно бы выяснить, каким образом одно и то же средство может служить противоположным целям? Это мыслимо в одном лишь случае: если процесс осуществления ваших целей приближает меня к моим, если путь на Саратов, действительно, лежит через Москву. Для современных антагонистов народничества [1]) такая постановка вполне естественна, ибо они усвоили себе именно такой маршрут к своей цели, который пролегает через «Москву». Дорога к желательному для них общественному устройству проходит через капитализм, а, стало быть, завершение буржуазной европеизации страны является для них шагом к цели. Народник же, отправляясь в Москву, менял прежний маршрут и не сводил счетов с прежними взглядами.

Но вот мало-по-малу наш неуклюжий поезд стал, казалось, приближаться к Москве. Вместе с чувством облегчения, проникавшим все прогрессивные элементы, в народнических журналах (напр., в статьях Михайловского и Елисеева 1880—1881 г.г.) проявляется заметное беспокойство. Казавшееся уже близким «увенчание здания» обрисовывалось все яснее, и нельзя было не видеть, что архитектура всего здания, как и его крыши, буржуазна. В самый апогей либеральных восторгов, когда даже «студенеобразный» герой Успенского [2]) уверял, что он «задыхается», появляется любопытная статья А. Горшкова [3]), в которой очень ярко выра-

[1]) [Т. е. марксистов социал-демократов].

[2]) Очерк „Наконец нашли виноватого“ (т. II).

[3]) Горшков. „Медовый месяц либерализма“. „Слово“ 1881 г. февраль. В „Одесск. Новостях“ 1897 г. М. Протопопов заявляет о том, что это его псевдоним.—Протопопов в ту пору писал очень бурные статьи; не в обиду будь сказано почтенному публицисту, в его тогдашних сочинениях было много жизни. Зато теперешние произведения Протопопова выгодно и своеобразно отличаются присутствием в них „божественного“ элемента.

зилось чувство, с которым встречали грядущее «увенчание» народники, оставшиеся верными старым убеждениям.

Один из представителей либерализма, сообразив, что с приближением к Москве пора позаботиться об увековечении нашего там пребывания, пишет «исследование» о «социализме в России и Европе» и в этом сочинении для обосновки своих взглядов с большим удобством пользуется оружием, выкованным в арсенале народников [1]). Статья Горшкова имеет целью опровергнуть оптимизм либерального профессора.

А. Градовский следующими словами изображает состояние России: «Россия пережила эпоху сословий, как государственных установлений, и эпоху крепостного права. С отменой последнего, вся сословная организация пошатнулась и распадается с каждым днем. Затем, организация классов есть дело будущего и зависит от того, какое направление примут русская промышленность, торговля и земледелие, т.-е. три загадки, которых никто не может разрешить в настоящее время. До сих пор мы живем остатками старого времени, т.-е. эпохи сословной и крепостной. Мы находимся в процессе перерождения, совершающемся чрезвычайно медленно, с многочисленными задержками, естественными и неискусственными, переносящими желаемое будущее с нас на наших детей. Но говорить о влиянии классов, о борьбе с ними, значит говорить о борьбе с несуществующим, о влиянии ненародившегося».

«Слова замечательные»,—говорит по этому поводу А. Горшков,—в высшей степени типичные. Одно из двух; или они, эти слова, выражение довольно обычного у нас невежества, хотя бы и профессорского, или они представляют собою только один из бесчисленных образчиков нашего благодушного оптимизма, который крестится лишь тогда, когда гром гремит». «По обычной тактике наших либералов, он (Градовский) избегает ставить точки над і и, встретившись с неприятным явлением, предпочитает обойти его, предоставляя разделываться с ним «нашим детям» и отодвигая его в будущее». Переходя к трем «загадкам», Горшков отмечает сочувственное отношение Градовского к общине, артели и кустарному производству, и прибавляет: Еслиб... Градовский обратил свое внимание на этот пустяшный вопрос, он убедился бы, что ничего загадочного в нем нет, и что «нашим детям придется говорить об этой форме производства, как о делах минувших дней. Форма эта быстро идет к упадку»... Указав далее (по Н.—ону), что все развитие торговли с

[1]) В „Русской Речи“ 1881 г. № I. А. Градовский, „Социализм в Европе и у нас“.

освобождения крестьян носит характер капиталистического накопления («выходя из фазиса непосредственного обмена, она фатально стремится к капиталистическому накоплению»), автор говорит, что и в земледелии капитализм господствует: «это загадочное для Градовского направление может быть резюмировано в таких словах: община медленно подтачивается, а крестьяне обезземеливаются. Нет (!) формы быта более справедливой, более гарантирующей каждому пользование продуктами своего труда, нежели форма общинного владения. Но, как и всякая другая форма, она не обладает в самой себе такими качествами, которые помогли бы ей устоять среди неблагоприятных условий... А Градовский только еще собирается или совеѣуется говорить «об улучшении условий общинного землевладения!» Обезземеление крестьян не в смысле экспроприации и даже не в смысле закабаления и закрепощения крестьян графами Бобринскими, а просто в смысле «добровольного» оставления крестьянами своей, soi disant, кормилицы земли идет благополучно вперед на радость капиталу, нуждающемуся в рабочих руках. Пусть этот процесс не только не заключился, но едва только начался. Но он начался, вот что важно, — и на его пути нет никаких серьезных препятствий. Все это трюизм, а для Градовского загадки. Он только теперь задается вопросом: «*должна ли Россия, сбросивши с себя формы старого сословного общества, итти экономически по тому же пути, по которому шла Европа, и притти к тем промышленным формам, которые дали рабочий вопрос, или она должна выбрать для себя дорогу, которая приведет ее к благосостоянию масс*»? *Поздний вопрос, праздный вопрос*, г. Градовский! А ответ ваш на этот вопрос, что «мы не должны желать, чтобы экономическое состояние нашего отечества уподобилось состоянию западно-европейскому», и что «мы должны крепко держаться за имеющиеся еще у нас условия самостоятельного крестьянского хозяйства», этот ответ звучит злой иронией. Это «мы должны» представляется столь же уместным, как «Исаия ликуй», произнесенное на похоронах известным героем русской сказки [1]).

«Если либералы, — говорит Горшков, — с разинутым

---

[1]) Этот „поздний вопрос", „праздный вопрос", однако, до сих пор еще гуляет в качестве очень важного вопроса на полях русских журналов. Его не только ставят проф. Яроцкий, г. г. В. В. Южаков и Кривенко, его постановку признает, повидимому, не праздным делом не только Михайловский, но и Протопопов, который в статье о Добролюбове („Русская Мысль" 1897 г. № 1) не боится, очевидно, прослыть героем известной русской сказки, когда говорит об этом вопросе, как еще нерешенном.

ртом смотрят на пришествие Разуваева, то это происходит потому, что их интересы по существу совпадают с интересами этого последнего. Веселиться и торжествовать либералы имеют все права. Уроки Европы пропали для нас даром. Мы имели полную возможность обойти все те подводные камни, которые дают и еще дадут себя знать Европе, мы были поставлены в условия беспримерно счастливые. Мы держали в руках все то (!), о чем мечтает и вздыхает современная небуржуазная Европа. Ни исторической, ни логической, ни практической необходимости не было для нас проходить через то Кавдинское ущелье, в котором завязла и до сих пор не может выбраться Западная Европа. В известном споре об общине «Современник» развил эту мысль с той самой убедительностью, которая, казалось, не оставляла места никакому сомнению. Но наша жизнь, как известно, чуждается каких бы то ни было идей, не справляется с ними. Результаты налицо: г.г. Градовским предстоит расти, а народу — мàлиться. Г. Градовский будет произносить благодарные и красноречивые речи, а народ будет выплачивать ему по 25 франков в день; имя г. Градовского будет у всех на устах, а народ будет на устах только Градовского. Против этого *теперь* трудно бороться! За г. Градовского и Разуваева почти все влиятельные и действующие факторы жизни. Но уже если судьбой суждено, что эта чаша не пройдет мимо нас, пусть же идея о ней утвердится в общем сознании не как идея конечной цели, идеала, но как неизбежной, но оттого не менее досадной стадии развития, которую чем скорее переделать, тем лучше. Всегда не мешает знать, куда мы идем, или куда нас ведут. Нехитрое, нетрудное это знание, но и оно может, не говоря о прочем, принести свою долю пользы, хоть в том отношении, что гарантирует нас от глупых восторгов по поводу разных красивых вещей, которые нам к тому же пока еще только обещали или даже не обещали, а, как говорит один купец у Успенского, «обещали посулить».

Мы привели эту длинную выписку потому, что она, как нельзя лучше, по нашему мнению, выражает то недоумение, с каким многие народники смотрели на тупой переулок, в который они были заведены историей. Вынужденный фактическим ходом событий желать «красивых вещей», народник, стоявший целиком на утопической точке зрения, не мог не видеть, что грядущее торжество «г.г. Градовских» будет сопровождаться «умалением» его «народа», потому что будет означать расцвет капиталистического общества. Заканчивая свою статью приглашением познать, «куда мы идем», Горшков нисколько не разделывался со своим противоречием. Что значит «неизбежная, но досадная стадия развития?»

Значит ли это, что дальнейшие шаги по буржуазному пути все же оставляют возможность не попасть в «Кавдинское ущелье»? Но ведь мы признали, что говорить о возможности расцвета общины и кустарного производства значит играть мало почетную роль «одного героя русской сказки». Гарантировать от «глупых восторгов», конечно, очень не мешает, особенно в среде, столь восприимчивой ко всяким глупым восторгам, но что нас гарантирует от отчаяния, если каждая «красивая вещь» в нашей серой действительности имеет лишь то значение, что подчеркивает безвозвратное исчезновение того, чем мы владели, и о чем (якобы) вздыхает небуржуазная Европа? Ведь небуржуазная Европа не только вздыхает. но и расчитывает видеть осуществление своих стремлений и свои надежды возлагает на развитие того строя, который, между прочим, порождает «красивые вещи», а потому каждый такой красивой вещью умеет пользоваться для своих целей. Разрешить все эти противоречия можно было только пересмотрев весь народнический арсенал. — Противоречие, в котором очутились народники к началу прошлого десятилетия, было противоречием между интересами двух социальных групп, которые они стремились представлять. Ход вещей вынуждал интеллигенцию заинтересоваться «вопросом об элементарнейших правах умственного и нравственного ценза». А, между тем, *прежние* представления о народе и его интересах делали необходимым отрицание буржуазного прогресса. Об это противоречие разбилось старое народничество.

Как увидит читатель в следующей главе, и, как отчасти видно из статьи Горшкова, народники в это время уже начали смутно сознавать, что прежние представления о крестьянстве отжили свое время и не могут служить базисом для выработки программы. Но для выработки новых, более соответствующих действительности представлений и для пересмотра с их точки зрения понятий о «народных интересах» не настало еще время: процесс развития деревни еще не подвинулся далеко, и недостаточно кристаллизовавшиеся внутренние отношения не могли дать твердой опоры для новых идейных течений. Следующий момент нашей истории и представляет процесс приспособления идей к этим новым отношениям. Но процесс развития крестьянства, дававший опору этому приспособлению, был процесс двухсторонний и состоял в расслоении «народа». Сообразно этому, общее до тех пор, несмотря на разные оттенки, течение разбивается на два все более расходящихся русла. И то и другое стремится выразить потребности вновь народившихся классов. Если мы считаем одно из этих течений, именно господствующее ныне

в передовой литературе, — наследником народничества 70-х годов, если мы продолжаем называть его народническим — вопреки открещиванию большинства его деятелей от этого названия, — так это потому, что названное течение, как и литературное народничество 70-х годов, представляет интересы соответствующего слоя крестьянства *сквозь призму представлений и интересов интеллигенции*, в которой оно потому и господствует. Прежде, чем перейти к 80-м годам, мы остановимся еще на некоторых типических чертах народнической журналистики критической эпохи, предшествовавшей этому серому времени.

IV.

В статьях Л. Алексеева и А. Горшкова мы видели, как народники, подойдя к постановке общих с либералами целей, старались от них отмежеваться. Приближение народников к либералам, обозначавшее сближение разных фракций интеллигенции, сопровождалось в свою очередь появлением и усилением народнических ноток в либеральном концерте. Мы видели, как А. Горшков высмеивал эти нотки у Градовского. Стремление выбиться из заколдованного круга, в который попали народники, было последней попыткой угасающего народничества отстоять свое право на существование в своем прежнем виде. Эта лебединая песнь старого народничества отличается особенной энергией, и в этот критический период народники в своей оценке экономической действительности проявляют особенную проницательность. Для народника, привыкшего к критической оценке либерализма, народнические нотки в общем либеральном аккорде представлялись архифальшивыми, и, направляя на них оружие своей критики, народник зачастую подрубал тот сук, на котором сам сидел. Одним из средств для «улучшения народного быта», как известно, народники всегда признавали кредит. Русская буржуазия в 70-х годах пыталась ускорить и облегчить процесс амальгамирования крестьянства с общей системой народного хозяйства путем приобщения его к благам кредита. Идеологи буржуазии не преминули запастись из народнического словесного и идейного арсенала подобающим оружием для прославления «народного» кредита. В народнической литературе 80—81-х годов находим несколько статей, посвященных оценке значения этого кредита. «Русская буржуазия имеет своих интеллигентных представителей. Их деятельность требует особого внимания. Она порождает в нашей общественной жизни крайне грустные, край-

не нежелательные явления, хотя (?) деятельность эта происходит публично, на глазах у всех»... «Интеллигенция нашей буржуазии преследует свои задачи и посредством организации мелкого кредита на особенных основаниях». Открытие в том году СПБ. отделения комитета о сельских судосберегательных и промышленных товариществах представляет «довольно важное событие в истории нашего внутреннего развития. С этого дня сложились и организовались поборники русской буржуазии. Любопытен первый шаг. Комитет задумал (?) разделить русское крестьянство на незначительное число богатеев и громадное количество бедняков. В настоящее время между первыми и вторыми существует целый класс крестьян не особенно зажиточных. Их нужно уничтожить»... «Деятельность этих товариществ доказывает, что подобные учреждения среди земледельческого населения служат только интересам мелкого кулачества, способствуют образованию мелкой сельской буржуазии, разоряют крестьян среднего достатка, обращают их в бедняков, в голь перекатную» [1]). Но, по словам автора, краткосрочный (о нем идет речь) кредит играет только роль ускорителя процесса разорения средних слоев крестьянства, который происходит сам по себе. Проектируется передать организацию мелкого кредита в руки земства. Это значит: «русское земство будет совершенно в руках буржуазии, сделается ее орудием».

Мелкий кредит облегчает известной части крестьянства увеличение своей земельной собственности. В настоящее время жизнь выработала, как известно, для этого факта красивое название: «расширение площади народного производства». Но в ту пору народники не боялись называть вещи собственными именами. По словам автора одной статьи в «Слове» 81-го года, к этому времени «общество» переменило свой взгляд на крестьянский вопрос, и факт приобретения земли крестьянами «перестает уже играть в глазах общества роль попытки малоземельного крестьянина дополнить собственный надел до размеров, обеспечивающих правильный ход хозяйства, а будет приписываться стремлению кучки богатых крестьян разбогатеть еще больше, и все планы помощи народу, построенные на этом факте, послужат не к возвышению благосостояния заурядного мужика (в чем именно состоит настоятельная надобность), а *к углублению пропасти, образовавшейся в общине между массой и несколькими счастливцами,* к усилению средств, с помощью

[1]) А. П. „Результаты краткосрочного кредита". „От. Зап." 1880 г., № 4.

которых (курсив наш) кулак эксплоатирует своего брата-мужика [1]).

Кн. Васильчиков, с которым полемизирует наш автор, предлагает для «улучшения народного быта»: 1) устройство семенных запасов или комиссионеров с субсидией от земства для выписки и продажи редких и дорогих семян; 2) устройство мастерских для выделки и продажи по удешевленным ценам или с рассрочкой некоторых орудий и 3—4) меры к поощрению лесонасаждения и к осушению болот. Как же относится к этому рецепту народник 80-го года? «Огромная гора родила маленького мышенка», — восклицает он. И этими средствами кн. Васильчиков думает предупредить разорение массы мелких владельцев и переход их земель в руки крупных. Право, эту щедрость никто не назовет княжеской».

Наш автор думает, что прямым результатом мер, предложенных кн. Васильчиковым, будет то, что мелкий сельский капиталист, действовавший до сих пор преимущественно в сфере обмена, перейдет к организации производства. В настоящее время, опять-таки мы знаем, что если это случится, то мы все еще будем иметь дело с «народным производством», которое устами В. В. и Южакова будет иметь полное право противопалагать себя производству капитилистическому. Народник 81-го года не знал этого простого решения вопроса и говорил: «Богатый крестьянин не встретит со стороны рабочей силы тех препятствий, какие стоят на пути крупного землевладения. Это, во-1-х, потому, что ему нужно всего каких-нибудь 2—4 работника, во 2-х, он набирает их из своих же клиентов, *членов той же общины* (курсив наш), которых он знает вдоль и поперек, которые всем ему обязаны, которых он держит в руках и своим карманом, и своим влиянием в волости и уезде; наконец, крестьянин знает, что работает не на ничего несмыслящего барина, а на своего же брата мужика, идущего в первой сохе, в первой косе. Словом, временная кабала, в какую крестьянин вступает к помещику, превращается в кабалу вечную и гораздо более тяжелую, процесс разобщения народа с землей пойдет быстрее и самое разобщение сделается прочнее. Крестьянская куль-

[1]) В № 4 „От. Зап.“ 80-го года в Библиографич. отделе сопоставляется образование безземельного крестьянства с фактом увеличения земли, принадлежащей лицам крестьянского сословия, причем это совпадение называется „социальным фактом высокого интереса“. Приводя данные, свидетельствующие, что 20% крестьян, прикупивших землю, суть предприниматели и эксплоататоры народного труда, автор замечает: „процент тем более заметный, что эти новые элементы выросли из однообразной мужицкой почвы лет за 20 — 25“.

тура не погибнет в борьбе с помещичьей, последняя попрежнему будет клониться к упадку; но в среде крестьянского землевладения произойдет разделение на крупное и мелкое; они вступят в борьбу, *и победа останется на стороне первого* (курсив наш). Вот перспективы, открывающиеся взгляду, коль скоро мы вступим на дорогу, расчищенную кн. Васильчиковым», а ныне, прибавим мы, с неменьшим успехом обрабатываемую плеядой народников, с В. В. «в первой сохе, в первой косе». А ведь цитированный нами автор не кто иной, как тот же В. В. [1]). Тот самый В. В., который, говоря в 1896 г. о сущности народнических вожделений общества, упоминает и об «организации кредита» и об «улучшении техники крестьянского землевладения» [2]), тот самый

[1]) „Слово" 81-го г. № 3., „Один из наших оптимистов". Беспристрастность историка заставляет нас отметить, что В. В. очень скоро отрешился от этого скептицизма и стал на завидную высоту „трезвенности". В 1881 г., как мы видели, он не признавал ничего утешительного в том, что помещичья культура „клонится к упадку", правильно усматривая в самом крестьянстве борьбу классов, в которой „победа останется на стороне сельской буржуазии". А в 1882 г. он, захлебываясь от удовольствия, пишет об интенсивности стремления крестьян завоевать себе самостоятельное положение в земледельческой промышленности, вырвать ее из рук владельцев... для каковой цели он с наслаждением переносит... непомерную арендную плату, лишь бы быть самостоятельным". В 1881 г. В. В. говорил, что в глазах „общества" увеличение крестьянского землевладения представляет еще мало утешительного, а в 1882 г. он выражает надежду, что мирные завоевания народа в рассматриваемой отрасли труда достаточно прочны, что не даром вынес он столько страданий, и если сам, благодаря борьбе, разорился, то, по крайней мере, „подготовил лучшее существование детям и внукам"... разумеется, детям и внукам тех „крестьян, в руки которых переходит скупаемая и арендуемая земля". В 1881 г. В. В. полагал, что крестьянин-собственник наилучшим образом умеет эксплоатировать „своего же брата-мужика" и что последний попадает к первому в „вечную и более тяжелую кабалу" по сравнению с кабалой у помещика. А в 1882 г. В. В. говорит, что к помещику идут только „неудачники, чтоб не сказать более, с сомнительной способностью к труду" и именно потому, что порядочный крестьянин „предпочитает наняться к своему же брату мужику, где он чувствует себя вольнее"... Как драгоценна в публицисте эта способность одно и то же жизненное явление изображать „в разных смыслах". Приведенные здесь цитаты взяты из „Сельско-хозяйственных очерков России" („Русская Мысль", 82 г., VI); в другом из этих очерков („Р. М." 82 г. I) г. В. В., который в 1881 г. разбивал иллюзии о народном кредите, констатирует, что для крестьянина 15 — 20% по ссудам, непосильные помещику, были бы шагом вперед по сравнению с сельским частным кредитом и заключает: „Очевидно, что именно то обстоятельство, которое служит тормазом развитию русского капиталистического земледелия, могло бы сильно двинуть *народное, будь оно ему только доступно*" *(курсив наш)*.

[2]) „Интелл. и произв. класс в России". „Новое Слово", 1896 г., март, стр. 19.

В. В., который видит народнический принцип в основании крестьянского банка, как учреждения, содействующего расширению крестьянского землевладения; теперь его не смущает более вопрос об отношении между всеми этими «мероприятиями» и разложением крестьянства... зато, переняв программу «интеллигентных представителей буржуазии», господа современные народники с успехом пользуются фразами врагов этой программы, народников 80 — 81 года. По-прежнему дело идет о победе «народного производства».

«Теперь — читаем мы в другом народническом журнале [1]) — на очередь выступили проекты банков, имеющих целью как-будто оказать содействие крестьянской массе в увеличении размеров ее землевладения, а в сущности сводящих дело к тому, чтобы, с одной стороны, создать побольше конкуренции для теперешних скупщиков дворянских земель по дешевым ценам и тем поднять цены на эти земли, а с другой — обездолить окончательно земледельца, обременив его непосильными платежами и тем отдать его со всеми потрохами в полное распоряжение различных кулаков».

«О народном кредите» немало заботилось и земство. «Каждый значительный под'ем у нас общественного духа», — говорит г. В. В. [2]), — сопровождается прежде всего оживлением интереса к народу... Как только русское общество изданием положения о земских учреждениях получило возможность сколько-нибудь самостоятельно влиять на окружающую жизнь, его односторонний классовый состав не помешал тому, чтобы в числе предметов, привлекающих наибольшее внимание местного самоуправления, оказались вопросы *народного* образования и *народной* (курсив В. В.) медицины. Кроме того, в земстве постоянно возбуждались вопросы «о поднятии крестьянского хозяйства», и если в последней области сделано немного, то не по вине земцев. Значит, «односторонний классовый характер» земства не мешает ему «действовать всецело в интересах народа». А если мы усумнимся, сохранило ли такую добродетель новейшее «исправленное и дополненное» земство, то нас успокоит на этот счет достойный сотрудник В. В. Абрамов, который обязательно сообщит, что новое земство не оправдало опасений и, в общем, доблестно соблюдает традиции старого [3]).

То, что легко дается «нам», вкусившим от древа «познания», не легко было внушить народнику 81-го г. Говоря о народолюбивой деятельности земства, Б. Ленский пишет:

---

[1]) А. Комаров, „Народный кредит“ „Р. Бог“. 1881 г., № 10.

[2]) „Интелл. и произв. класс в России“, стр. 13.

[3]) „Земство и города“, если не ошибаюсь, во II кн. „Нов. Слова“ за 1895 — 96 г.

«Непонятным кажется с первого взгляда, почему *дворянскому* (курсив наш) земству так глубоко запала мысль о необходимости поддержать мужика. Но в сущности дело это проще, чем кажется». По мнению автора, крушение дворянского хозяйства выставило помещикам на вид опасность для них в окончательном пролетаризировании крестьянской массы. Указав на процесс перехода дворянских земель в руки купцов, наш автор замечает: «При таких условиях можно, кажется, взяться за ум, можно заговорить не своим голосом и вместо криков о невежестве, пьянстве и разных подлостях мужика повести тихую речь о его бедности, о необходимости заключить с ним союз дружбы, о наделении его землей, дабы всегда иметь этого друга под боком, сделать его другом неразлучным, как бывало прежде, твердо прикрепленным к земле, не имеющим в мыслях намерения спастись бегством на отхожие промыслы. Вот почему в последнее время все чаще и чаще стали раздаваться странные и невозможные прежде речи о каком-то принципе солидарности крестьянских и помещичьих интересов, о том, что высокие платежи и ничтожные наделы крестьян прямо разоряют помещиков, выгоняя крестьян на фабрики и в города, лишая их скота, необходимого для обработки и помещичьих земель».

Едко осмеивая эту теорию солидарности мужицких и помещичьих интересов (которую, кстати сказать, не стеснялись проповедывать кое-кто из народников 80— 90-х г.г.) [1]), автор изображает ее историю и останавливается на 5-м сельскохозяйственном с'езде в Одессе в 1878 г., когда со стороны лиц, говоривших прежде о сельском рабочем чуть не с пеной у рта, «полилась тихая сочувственная речь о нуждах нашего сельского населения, о его безземелии, о тяжести его платежей, о необходимости направить все меры к поднятию его благосостояния, ибо оказалось, что все беды помещичьего землевладения заключаются в материальной необеспеченности крестьян. Бедность мужика, говорили все члены с'езда — наша бедность, его довольствие — наше благополучие, словом, здесь была впервые развита лукаво-сентиментальная теория солидарности помещика и мужика, теория, составляющая результат последних потуг на смерть пришибленного дворянского землевладения, смелая, но едва ли остроумная, в которой нежный обольстительный голос сирены смешивается с хриплым звуком старого крепостниче-

[1]) Упомянем хотя бы о прославляемой до тошноты народниками московской помещице, которую воспел впервые, если не ошибаемся, Каблуков, как образец сохранения народнической невинности, не помешавшей выгодному помещению капитала.

ского хищничества, старающегося придать старой сущности новые благообразные формы» [1]).

Проповедники «лукаво-сентиментальной теории» рекомендовали для «улучшения быта» кредит. «Поземельный кредит, — заканчивает свою статью Ленский, — несет тяжкую рану и без того на ладан дышащему хозяйству. Это жестокая ловушка, в которую весьма легко попадет крестьянин, принужденный кидаться во все стороны, чтобы найти какой-нибудь исход. Даже аренда за обработку — меньшее несчастье, чем это улучшение быта» [2]). В настоящее время вопрос о том, что представляет «большее несчастье» для крестьянского хозяйства, поземельный кредит или аренда за отработки, решен, как известно, в том смысле, что «оба лучше»; поземельный кредит есть осуществление мысли о наделе, положенной в основании великого акта 19 февраля, а аренда за обработки означает «расширение площади народного производства».

V.

Настроение, приведшее народников к резкой критике «мероприятий» по части улучшения народного быта, с особенной интенсивностью сказалось в Глебе Успенском. С обычной проницательностью он коснулся самых глубоких иллюзий народничества и в рассматриваемый нами период начала 80-х годов посягнул на все устои.

В очерке о джутовом мешке («От. З.» 81 г., № 3), рассказав, как мешок разорил бежецких швей, Успенский ядовито замечает: «Даже у бежецких швей при внимательном изучении окажутся кое-какие артельные отношения, механизм которых, я уверен, доведен до такого совершенства, что сгоряча можно на основании его предрекать обновление всего общественного строя. Но несмотря на все это, идет-гудет джутовый мешок и все это сметает, как вихрем. Не слышит

[1]) И все вместе заглушается умышленным дискантом друга народа. Упомянутый Одесский съезд 1878 г. недавно был снова отмечен в истории ... познания „обществом“ народных нужд „В 1878 г. Всероссийский с'езд сельских хозяев, состоявшийся в Одессе, признал критическое положение народного хозяйства и указал на необходимость расширения народного землевладения“. (Южаков. Дневник журналиста, „Р. Б.“ 1896 г., дек., стр. 104) Voilà comme on écrit l'histoire!

Что делать! Noblesse oblige! Взявшись связать судьбу „народного производства“ с упованиями на „патриотизм, совесть“ и пр. „руководящих классов“ (там-же, стр. 115), приходится и обольстительный голос сирены, и хриплый лай крепостника рекламировать перед читателем.

[2]) Ленский: „Крестьянский вопрос в 80 г. „Слово“ 1881 г., № 1.

и не внемлет джутовый мешок, что при пособии, мол, от земства, все же высшие начала распустятся пышным букетом; идет-гудет и стирает с лица земли и общественные порядки и разрабатывающих эти порядки людей. Да что джутовый мешок! Не только он, этот истинно злой иноплеменник попирает эти порядки — и до прихода его в наших местах *порядки эти мало помогали человеку*... (курсив наш). Не защищали они труженика от самого непрестанного грабительства». Следует описание кулачества, царящего в самоткацком промысле и рассказ о превращении артели сапожников при пособии и ссуде от тверского земства — в артель хозяев.

В очерке «Без определенных занятий» («От. З.» 81 г., № 4) Успенский уже посягает на иллюзии об общине. «С точки зрения человека, сознающего, что он создан по образу и подобию божию, решительно отказываешься понимать прелесть этих переделов, драк из-за межевых столбов и т. д. Сектантские общины, по внутреннему своему смыслу, решительно непохожи на те калеки-общины, которых в русской земле пока еще громадное большинство и которые кое-как влачат свою изуродованную жизнь, будучи воспитаны, с одной стороны, канцелярскими требованиями, а с другой—убивавшим личность крепостным правом».

Когда вслед за крушением либеральных надежд на «увенчание» в периодической прессе поднялся невообразимый хаос, в котором слова «народный» и «народничество» стали служить оружием в руках шарлатанов всех партий, а филистеры народничества с самым наивным доверием и самой неприятной угодливостью подчеркивали это всеобщее приватное и оффициозное братание с народом, Успенский выступил с жесткой, уничтожающей критикой самообманов народнического филистерства в очерке «Равнение под одно» («Русск. Мысль» 82 г., № 1), появившемся с характерной оговоркой редакции об ее несогласии с автором. Мы позволим себе привести значительные выписки из этого очерка, считая это тем более важным, что в полном собрании сочинений Успенского этот очерк помещен с значительными изменениями, лишающими его всего его значения.

Говоря о самарском голоде 80—81 г.г., Успенский замечает: «Есть в этой массе достовернейших бедствий какая-то черта, которая воспитывает во мне какие-то враждебные побуждения, рождает какие-то недобрые мысли относительно народной массы, которые мешают мне *только* сочувствовать, *только* любить, *только* верить... Почему-то одновременно со скорбью, с желчным упреком интеллигенции... рождается желание какого-то инстинктивного движения кулаком в эту самую народную массу. Чувствуется, что тут в ней же есть

какая-то неправда, язва, червоточина... Начинают рисоваться даже такие «народные» морды, которым весьма бы желательна даже сибирская язва. Обыкновенно в подобных случаях люди сочувствующие молчат, — глотают, так сказать, эти дурные, неведомо откуда рождающиеся побуждения».

Автор передает воображаемую свою беседу с «искренно сочувствующим народу лицом».

«Откуда, — вопрошает собеседник, — взялся хлеб, когда был неурожай, и почему хлеб подешевел, вместо того, чтобы подорожать». «Хлеб, милостивый государь, был там же и взялся оттуда же, где был и голод. В одних и тех же деревнях были люди, которые не умирали с голоду, а, напротив, поправлялись и толстели, в одних и тех же деревнях были люди, которые продавали лошадей за рубль, и были другие люди, которые ее покупали за этот самый рубль и которые продают ее теперь назад за 40 — 50 рублей».

«При общинном землевладении?!», — с негодованием (как мне кажется) перебивает меня воображаемый собеседник. И как мне не трудно огорчить вопрошателя, но, скрепя сердце, я говорю:

— При общинном... Увы, при общинном.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— А смертность?

— Точно так же со смертностью; мрут больные, голодные, худородные, а от'евшиеся здравы и невредимы... Одни мрут, как мухи, другие толстеют, как борова.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— При общинном землевладении?

— При общинном землевладении.

Лицо воображаемого моего собеседника вспыхнуло яркою краскою негодования... Он, как мне кажется, готов бы отвернуться от меня, прекратить разговор. Но оскорбление, которое я нанес ему своим ответом, до того взволновало его, что, отворачиваясь и негодуя, он гневно задает мне, так сказать, «в упор» такой вопрос:

— Так вы что же... вы думаете, что хлеб был припрятан у одних, в то время, как другим было нечего есть.

Слово «припрятан», признаюсь, меня коробит. Я был бы очень доволен, если бы мой собеседник не произносил такого грубого слова, требующего от меня не менее грубого, жестокого ответа, но делать было нечего, и, собравшись с силами, я решаюсь произнести ужасное слово:

— Увы, — говорю я, содрагаясь, — припрятан...

— При общинном землевладении? — весь багровый от

негодования вопрошает воображаемый собеседник, видимо желая, чтобы я опомнился, очувствовался.

Но я, как бесчувственный истукан, не могу ни придумать, ни вымолвить чего-нибудь иного, кроме того же грубого ответа:

— При общинном землевладении, — говорю я и, чтобы несколько смягчить неприятное впечатление моей грубости, прибавляю:

— Увы! увы! увы!

«Если вы, — обращается автор к воображаемому собеседнику, — печалуетесь о народе с целью выработать для себя пригодную для народного блага нравственную задачу, то вам нечего бояться и негодовать на неизбежное и решительно вредно успокаиваться на таких делениях русского общества... как — народ, община, деревня — одно; а кулак, грабитель — другое, ничего не делающая интеллигенция — третье. Такое деление, хотя вполне определенное, суживает вашу задачу и приучает вас, как к несостоятельному негодованию, так и к не менее несостоятельным надеждам».

«Если я вам скажу,—говорит Успенский в другом месте, — что вот эта редька росла корнем вверх, вы мне не поверите, а когда дело касается народной жизни, вы именно настаиваете на этой несообразности, т.-е. начинаете доказывать, что гнусные явления, вроде кулачества, растут корнем вверх наружу, и *не получают соков из почвы, из народа...* (курсив наш). Между тем, сложность переживаемой народом минуты, сложность, следовательно, лежащих на вас, образованном человеке, обязанностей — умаляется и как-то обесцвечивается, во-первых — *слишком неосновательными надеждами на общинное землевладение*, во-вторых — *слишком обесцвеченным представлением понятия «народ»*. «В последнее время слово «народ» стало представляться такой же почти коллективной однородностью, как, напр., слово «овес», или «сено», или «икра»... Народ — это что-то одномысленное, какая-то масса, где все частицы во всем совершенно равны друг другу, одномысленны, одинаковы даже в нравственных побуждениях... Но нам кажется, что это неверно и, что такое ни с чем несообразное равнение вытекает из слишком нерассудительного преклонения перед общинным землевладением, а, главным образом, перед ритуалом распределения общинных земель. Это распределение также сделалось предметом неумеренного идолопоклонения и неумеренных надежд. Пред ритуалом распределения земель и уголий по душам и т. д. стали стушевываться все другие человеческие стороны деревенской жизни; нет ни восхода, ни заката солнечного, нет ни баб, ни девок, ни свиданий ни

песень, все исчезло перед межевыми знаками и межевыми ямами. Народ только и делает, что говорит о принципах обычного права, да о межевых знаках, с детских лет крестьянин, якобы, только и думает, что о колышках, столбиках, о делении лугов и пр. Деревенские люди, если сходятся поговорить, то говорят непременно о высшей межевой справедливости. Иной раз кажется, что все деревни наши населены кандидатами на судебные должности, штудирующими Пахмана или Якушкина. Пишут целые романы, в которых авторы воодушевляются планами генерального межевания, купчими крепостями и нотариальными актами. Я понимаю, что в жизни образованного человека бывают минуты отчаяния, когда он теряет голову, теряет веру и рад ухватиться «за что-нибудь», рад убедиться, что есть на свете что-нибудь справедливое, что можно влюбиться в какую-нибудь жердь, как памятник справедливого мужского поступка, но при всем том нельзя не видеть, что это неумеренное поклонение совершенству распределения земель и средств существования, — совершенству уравнения *источников* существования, якобы проникающего с неизменной последовательностью и все другие общественные отношения деревенских людей — беспрестанно ставит человека, желающго служить народу, в самое нелепое и бессмысленное положение».

«Да, наконец, самого поверхностного взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «под одно» всех деревенских жителей и все деревенские мнения». Основывать однородность деревенских интересов на общинном землевладении *так же несправедливо*, как если бы на основании общинного владения петербургским водопроводом, из которого вода равномерно распределена по всем жилищам, от дворца до лачуги за Нарвской заставой и при том, совершенно одинаковая вода, т.-е. как и во дворце, так и в лачуге вода эта одинакового цвета, свойства, вкуса, идет из одного и того же источника по совершенно одинаковым трубам и распределяется каждому по потребности его, если-б, повторяю, на одинаковости и правильности распределения воды я основывал одинаковость целей, желаний, стремлений, хотя бы только до известной степени между всеми тысячами людей, населяющих тысячи квартир, соединенных проведенной водой, или если бы я думал, на основании того, что вода распределена между всеми на основании потребностей каждого «сколько кому надо», вздумал бы представить себе, что и средства обывателей распределены так же равномерно, и при том «сколько кому надо», то едва ли с моей стороны в этом не было бы ошибки. А между тем на основании обширного землевладения строят именно такие

фантазии». Нет сомнения, у деревни есть общие интересы, такие, которые сплачивают деревню и делают ее «как один человек». Но ведь и в Петербурге, — заключает Успенский, — «все обыватели соединены известными общими интересами по отношению к водопроводу».

«И все-таки, делаясь в известные моменты, — как один человек, ни Петербург, ни Москва не спасают себя от общественного разъединения, которое существует в них сию минуту. Деревенская жизнь вступает в совершенно *новый* фазис, становится в совершенно новые условия, под совершенно новые давления и влияния, для которых не было прецедентов никогда с основания России (напр., железные дороги), влияния и давления могущественнейшие, имеющие за собой прошлое, ничуть не менее давнее, чем общинное землевладение, имеющие за собой страшную силу новизны, любопытства, соблазна, влияний, разлакомливающих личное чувство на личные удобства и блага. Возникают, благодаря этим влияниям и давлениям, совершенно новые явления, явления огромного расстройства, а вы упорно отделываетесь от них небрежными выражениями «все кулаки», потому что вы, яко бы, до такой степени «влюблены» в народ, что не можете переносить грубого с ним обращения... В межевых столбах и ямах (которые в действительности только одни остаются в полном вашем распоряжении, так как о всем прочем вы, как говорится, и *пикнуть не смеете)*, вы видите и спасение, и блестящее будущее и пр., и пр. Но межевые столбы были всегда во все дни и годы русской жизни, а кроме них чего-чего не происходило в этой жизни! И помешали ли сии великолепные ямы какому бы то ни было давлению». «Так как в настоящее время, по выражению одного моего знакомого купца, «никому — ничего нельзя («Трехцветное знамя»), то и не мудрено, что внимание к народной жизни, остановленной в своем правильном течении, ушло в несущественные мелочи... *Только полная невозможность серьезного, правдивого* дела может заставить человека восхищаться тем, что вот эти два крестьянина выпили каждый по одной рюмке и закусили одним яйцом и т. д.»

«Общинное землевладение», — заключает автор, изложив свой известный взгляд на зависимость форм сельского устройства от условий земледельческого труда, — «до того не обороняет от непорядков, что какие-нибудь живорезы нарочно вкупаются в общество деревни, чтобы свободнее опустошать его».

В стремлении выбиться из того противоречия, в которое жизнь поставила народников с их основными положениями, они развили все силы своего отрицания и, осудив свои соб-

ственные иллюзии, наперед заклеймили будущие славословия своих худосочных потомков. Вместе с тем, этот критический период в развитии народничества создал некоторые элементы, послужившие исходным пунктом нового направления. Классовый характер русского «общества» и классовая подкладка его народолюбия, квалификация «крестьянского разорения», как процесса расслоения народа, в силу чего всякие панацеи, вроде кредита, могут вести лишь к развитию капитализма, наконец, полный скептицизм по отношению к общине и артели — все это было воспринято «русскими учениками» [1]).

VI.

В наступившей ночи 80-х г.г. деятельность народнической литературы сводится к стремлению согласовать свои старые идеи с новым изменившимся состоянием страны и соответственно переменившимся настроением тех социальных групп, которые она продолжала представлять.

В эту пору сила событий сделала для всех прогрессивных групп культурного общества самым насущным делом отстаивание всех плодов, добытых страной за последнее 25-летие, отовсюду восставших теней, казалось, погребенного прошлого. В виду крикливого и победоносного выступления «этих теней» всем слоям интеллигенции приходилось стать грудью за сделанные страной успехи в деле культурно-социальной европеизации [2]).

Ясно, что народники, выступая на защиту пореформенной России от воспрянувших ихтиозавров, доброго старого времени, все глубже утопали в том противоречии, в которое они попали в конце предшествующего десятилетия в качестве представителей созданной реформами интеллигенции,

---

[1]) Отметим еще уже цитированную П. Струве и А. Саниным статью „Финансовая политика последнего 25-ти летия" („От. Зап., 82 г. III), в которой интересно совершенно *реалистическое* отношение к крестьянской реформе.

2) Поэтому в 80-ые г.г. Щедрин, Шелгунов и Михайловский одинаково заняты преимущественно борьбой с реакционными течениями всякого рода. На деятельности Н. В. Шелгунова в это время особенно видно, как сила событий возлагала на всякого честного демократа роль борца за свободное развитие буржуазного строя. См., напр., его статью о проектах государственной табачной монополии („Русск. Мысль", 1887 г., № 6, „Оч. русск. жизни). В „Деле" 83 г., № 11 находим в обзоре внутренней жизни („Из домашней хроники") такие слова: «Из бывшей однородной крепостной России теперь стало две России или точнее Россия распалась на два слоя. Нижний слой образовала земско-земледельческая Россия служилой и земле-

стремившихся в то же время отстаивать интересы осужденного на крушение хозяйства крестьянина-«общинника».

Но если бы народники 80-х г.г. утопали *только* в этом противоречии, если бы они *только* превращались постепенно в крайнее крыло либерального лагеря, они, правда, прекратили бы самостоятельное существование, но зато сошли бы со сцены с честью... Истории суждено было вслед за трагедией кризиса народничества поставить на сцену самый прискорбный водевиль с переодеванием. Будущий историк не без изумления остановится перед этой эпохой, когда в ответ на натиск реакции из всех углов деморализованной печати неслись услужливые голоса, как бы воочию стремившиеся доказать, что их не превзойдешь в пресмыкательстве...

Будущий историк засвидетельствует, что триединый союз Дикого помещика, Колупаева и Грацианова [1]) не мог бы осуществить свои хищные цели, если бы не создавал вокруг себя атмосферы ханжества, грубого шовинизма и всеобщего лакейства, пропитавшего все слои образованного общества, и что в это благородное дело согласования «национального сознания», согласования «культурного общества» с «духом времени», вложили свою лепту многие демократические писатели. Он обрисует всю галлерею друзей народа, как будто бы поставивших своей целью извращение смысла каждого недвусмысленного события, чтобы придать ему «народнические черты», чтобы прозревать всюду «симпатичное начало». *Он процитирует всех тех господ,* которые возвещали начало конца капитализма после учреждения крестьянского банка, которые с такою же развязностью рекомендовали свои фантастические мероприятия—обращаясь направо—с точки зрения социальной антисептики, как оберегающие нас от «язв» гнилого Запада, с какою — обращаясь налево — рекламировали крепостнические фактически мероприятия с точки зрения якобы сидящего в них народнического духа.

Перед изумленным взором будущего историка предста-

дельческой интелигенции, оставшейся верной земледельческим (!) интересам и составившей земское ядро». В этих строках очень ясно обнаруживается роковая тенденция, увлекавшая народничество к отстаиванию пореформенной России во всей ее «либерально-буржуазной» обстановке. Щедрин не мог так легко примириться с этой обесцвечивавшей деятеля 70-х гг. ролью, и в самый разгар своей борьбы с крепостниками и их пополэновениями направил свои уничтожающие стрелы на «земское ядро» Пафнутьевых и Дранины (‹Письма к тетеньке» — рассуждение о том, следует-ли Пафнутьева считать «излюбленным человеком»). Отрицание буржуазной России в Щедрине было слишком глубоко, чтобы забыть о нем в борьбе с ретроградами.

[1]) В «Убежище Монрепо».

нет во весь рост фигура того же С. Н. Южакова, который в 1882 г. одолжал свое народническое оружие делу антисемитизма, а в 1885 г. — делу полонофобии [1]) и в том же 1885 году писал следующие строки, давая философское об'яснение современной ему политики: «Что же все это значит? Бюрократия управляет, армия охраняет, наука, искусство, техника, литература служат потребностям нации [2]); служилое сословие исполняет волю государственной власти, повинуется бюрократии и в конце-концов должно служить удовлетворению тех же потребностей. Но *чьи же это потребности?* (курсив наш). *Кем это управляют? Кого охраняют, просвещают?* Исключая все государственные и общественные классы, которых назначение управлять, охранять, просвещать, руководить или служить, остается в России только мужик, его село, его община, его быт... Там, в Европе, есть о чем заботиться, что охранять и развивать, кроме мужика... Но у нас, где феодального сословия нет, церковь не стремится к мирскому господству, буржуазия же и пролетариат только возникают, остается на всей обширной сцене отечественной истории один только крестьянин... Во имя его на авансцену всемирно-исторической культурной драмы выступает Россия» [3]).

А так как «выступление на авансцене всемирно-исторической культурной драмы», да еще во имя «мужика» требовало для своего осуществления не мало «патриотического» воодушевления [4]), то вполне естественно, что в ответ на настоятельный запрос «народного духа» обосновать шовинизм

---

[1]) Г. Южаков совершенно напрасно обиделся в прошлом году на Пятковского, напомнившего ему, что он писал антисемитские статьи. Что его статья в эпоху известных погромов была с удовольствием встречена антисемитами подтверждает, между прочим, Шелгунов в одной статье в „Деле“ 1882 г.

[2]) Как может видеть г. Михайловский, некоторые из его ближайших сотрудников по журналу не усвоили его скептицизма по отношению к „антиномичности“ благ цивилизации и различия между благом нации и народным благом.

[3]) „Вопросы гегемонии в конце XIX века“, „Русская Мысль“, 1885 г. № 3.

[4]) Ибо иначе Санхо Панса мог бы задать свой вопрос о средствах, на которые благородные рыцари намерены разыграть свою драму. Впрочем, на случай этого неуместного запроса мы имеем тоже научный ответ в ст. „Милитаризм и капитализм“ г-на В. В. („Русск. Мысль“, 1882 г. № 2); нам обязательно докажут, что, не в пример прочим державам, милитаризм в России служит только „строго оборонительным целям“. „Ее заявления о стремлении к миру не лицемерная фраза, скрывающая вполне определенные поползновения на захват чужой собственности, а выражение действительных потребностей страны, как представительницы народного, а не капиталистического режима, как царства мужика, а не буржуазии“.

и разукрасить цветами «высших целей» разную Ашиновщину, наш народник восклицает: «Борьба между лендлордом и капиталистом, с одной стороны, и русским мужиком, с другой, предписывается всей логикой истории обоих государств» [1]).

Но довольно. Народничество в 80-х годах оказалось не менее деморализовано, чем все интеллигентское общество. Эта общая школа содействовала сближению народничества с обществом.

---

[1]) В иностранной летописи „Сев. Вестн.", 1887 г.—Г. Гольцев, полемизировавший с Южаковым по этому вопросу, отметил, что тот рекомендовал присоединение Болгарии к России, и в ответ на „обвинение в шовинизме стал доказывать, что „активная политика" не подлежит осуждению, ибо Линкольн и Гарибальди тоже вели активную политику... („Русская Мысль" 1887 г. № 9, В Гольцев). По поводу слов П. Струве о нации он мог бы привести места из сочинений Южакова, противоречащие определению П. Струве. Быть может. Но места, приводимые П. Струве в тексте, достаточно, кажется, подтверждают национализм Южакова. Если же в его одеянии есть и совершенно противоположные цвета, то это значит, в сущности, что у Южакова идейное одеяние очень... пестрое.

IV.

Французские события сквозь очки русского этико-социолога.

Политические драмы, подобные той, которая ныне разыгрывается во Франции под именем «дело Дрейфуса», представляют значительный интерес для наблюдателя, не лишенного желания подметить за пестрой канвой драматических событий их принципиальное значение. В обычное, тихое время, исторические силы, действующие в современном обществе, проявляются в бледных, часто противоречивых фактах, которые вне связи с целым процессом могут казаться непостижимыми. Наоборот, в таком «критическом» периоде, какой ныне переживает Франция, действие социальных сил проявляется с драматической силой и бьющей в глаза яркостью. Неудивительно, поэтому, что парижский корреспондент «Русского Богатства» счел уместным воспользоваться нынешними французскими событиями для выяснения старого вопроса о «сущности исторического процесса». Рассуждения г. Н. К. [1]) заслуживают того, чтобы на них остановиться.

Дело в том, что наблюдения над французскими событиями заставили Н. К. «решиться на следующий вывод»: «теория классовой борьбы, а особенно борьбы на почве одних лишь экономических интересов, должна быть дополнена существенной поправкой, и поправка эта касается все возрастающей роли нравственного элемента и убеждения в социальном движении наших дней».

Читатель видит, что движению, вызванному «делом Дрейфуса», суждено, повидимому, сделать то, чего не удалось до сих пор свершить соединенным силам Н. Михайловского, Н. Кудрина, Н. Корнеева, В. В. Гольцева и прочих сокрушителей «теории классовой борьбы».

Прежде, чем перейти к рассмотрению *тех соображений*, которыми Н. К. обосновывает выше цитированный вывод,

[1]) „Р. Богатство“, 1898 г. XII. [Инициалы Н. К. принадлежат Н. Кудрину-Тарасову, видному народнику].

обратим внимание на самое его содержание. Теория классовой борьбы, а особенно борьбы на почве только экономических интересов, говорят нам, должна быть дополнена «поправкой» относительно возрастания роли нравственного элемента и убеждений в современных социальных движениях. Собственно говоря, какая же это поправка? История всех обществ есть история борьбы классов, так гласит первое слово теории, которую Н. К. взялся «исправить и дополнить». Очевидно, поправкой к этому тезису может служить такое только положение, которое утверждает, что не всегда или не везде развитие общества является результатом борьбы классов. Вопрос же о том, возрастающую или убывающую роль играет в социальном развитии «нравственный элемент», не имеет непосредственного отношения к данному тезису. Допустим, что мы нашли, что роль нравственного элемента в социальных движениях все возрастает; уполномачивает ли нас это наблюдение сделать вывод о том, что исторический процесс не может быть сведен к борьбе классов? Отнюдь нет, ибо можно допустить, что развитие классовой борьбы при известных условиях необходимо вызывает действие «нравственного элемента». Так, например, мы можем предположить, что развитие классовых антагонизмов в Флорентийской республике создало в известный момент такую идейную атмосферу, в которой личность, подобная Савонароле, могла оказать громадное нравственное влияние на общество. В высшей степени не рационально противопоставлять понятию «классовая борьба» понятие о «нравственном элементе». Понятие о «классовой борьбе» *включает* в себя понятие об убеждении и «нравственном элементе, без посредства которых на известной ступени исторического развития даже немыслимо сплочение индивидуумов в класс, немыслимо превращение классового движения an sich в классовое движение an und für sich [1]).

«Когда борьба классов приближается к решающему моменту, процесс разложения господствующего класса и всего общества принимает столь резкий характер, что от господствующего класса отделяется его часть и присоединяется к тому классу, который представляет собой будущее. Как в свое время часть аристократии стала на сторону буржуазии, так точно и в наши дни одна часть буржуазии соединяется с пролетариатом, именно те буржуазные идеологи,

[1]) Не говорим уже о том, что самая постановка вопроса о самостоятельном влиянии „нравственного", „умственного" и т. д. элементов или факторов, носит на себе печать своего рода социологического фетишизма. Об этом см. Лабриола: „О материалистическом понимании истории".

которые возвысились до теоретического понимания исторического движения в его целом».

В этих словах, взятых нами из одного из замечательнейших литературных произведений этого века [1]), заключается некоторое указание на «роль убеждения в социальном движении наших дней». Известная глубина понимания исторического движения (что, заметим мы, требует известной высоты нравственного развития) позволяет личности стать на сторону «класса, представляющего будущее»; но самое это теоретическое усвоение и его последствия совершаются на почве развитой борьбы классов, этой последней в конечном счете обуславливаясь.

Если бы соображения о роли «нравственного элемента» в социальном движении было достаточно для опровержения теории классовой борьбы, то Н. К. не приходилось бы дожидаться постановки на всемирно-исторической сцене «дела Дрейфуса». В прошлом человечества есть гораздо более грандиозные картины, картины, в сравнении с которыми нынешние французские события являются довольно мизерными, картины, дающие гораздо больше материала для размышлений о роли «нравственного элемента». Так, напр., многие западно-европейские противники исторического материализма считают камнем преткновения для этой теории вопрос о распространении христианской цивилизации. Они указывают на громадную роль нравственного элемента и убеждения в этом великом историческом перевороте. И если (как мы лично думаем) эта теория отнюдь не рушится от постановки этого вопроса, если на этот вопрос она может отвечать, нисколько не отказываясь от своих положений и вместе с тем, не закрывая глаз на значение «нравственного элемента» в деле распространения христианской цивилизации, то смеем думать — наша теория устоит и перед вопросом о том, как об'яснить «самое сильное общественное движение, обнаружившееся за последнюю четверть века во Франции». Если теорию классовой борьбы не опровергает факт обращения Савла в Павла, то ее, даст бог, оставит невредимой и недавний факт превращения Пуанкаре из «антиревизиониста» в «дрейфусара».

Таким образом, формулированное в столь общем виде положение о возрастающей роли нравственного элемента не может служить поправкой к теории классовой борьбы. Поправкой или даже опровержением этой теории «нравственный элемент» может явиться лишь в том случае, если хотят

---

[1]) [Имеется в виду „Коммунистический Манифест“ — не назван он в виду цензурных соображений].

сказать, что нравственные идеи, вне всякой генетической связи с классовыми интересами стоящие, могут направить развитие общества по пути, независимому от того, который определяется игрой классовых интересов и создаваемой ими борьбой. Очевидно, Н. К. именно это и имеет в виду, когда после вышецитированной тирады продолжает:

«Было бы неуместно входить здесь в теоретическое обсуждение сравнительного значения экономических и других условий; мне пришлось бы повторить мою обычную мысль о важном, но не единственном влиянии материального фактора. Но во всяком случае, даже и признавая общую верность теории классовой борьбы в широком смысле, я не хочу закрывать глаза на очень интересный социологический факт, который доставляет именно современная Франция: самое сильное общественное движение, которое обнаружилось в ней за последнюю четверть века, выросло на почве страстного искания «справедливости».

В немногих словах здесь сконцентрирована изрядная доза теоретического сумбура. С одной стороны, теория классовой борьбы в широком смысле признается, в общем, верной, при чем указывается на «важное, но не единственное» влияние материального фактора, каковое ограничение мы привыкли встречать вместе с самой оценкой разных «факторов», как раз у тех писателей, которые теорию классовой борьбы не признают верной. С другой же стороны, в пояснение слов о «нравственном элементе», вносящем поправку в теорию классовой борьбы, нам говорят, что крупным социологическим фактом является возникновение нынешнего французского движения на почве искания справедливости. Если все это имеет вообще какой-нибудь смысл, то только один: Н. К. желает сказать, что нынешнее французское движение возникло вне связи с классовой борьбой, вне связи с «материальным фактором».

Весьма жаль, что Н. К. не пояснил нам, что собственно понимает он под «влиянием материального фактора». В этом случае мы бы хоть знали, какую собственно теорию он взялся исправить или какой он себе представляет эту теорию. Та сбивчивость в выражениях и нелогичность противопоставлений, с которой мы встретились в приведенных выше строках, заставляет опасаться, что наш автор имеет об учении о классовой борьбе и об историческом материализме вообще недостаточно ясное понятие. Это опасение является тем более основательным, что Н. К. не очень *давно случилось* изречь следующую тираду [1]):

[1]) „Р. Б.“ 1896 г. № 10. Речь, сколько помнится, шла о парижских „котельщиках“.

«Страшная необеспеченность этих обширных слоев населения среди нашей хваленой классовой цивилизации может, пожалуй, об'яснить возникновение теории, находящей в «вопросах желудка» основание всех социологических отношений и во всяком обществе; представьте себе, что люди изучают, так сказать, психологию общежития на караване, который бредет в пустыне, томясь голодом и жаждой и потому видит повсюду мираж финиковых пальм и студеной воды; не мудрено, если эти наблюдатели сведут весь психический мир к бреду голодающего».

Читатель видит, что теорию своих противников Н. К. понимает «очень просто». В богатой литературе русских антагонистов исторического материализма Н. К. имеет только двух конкурентов, достигших одинаковой с ним степени упрощения этой теории: Л. Слонимский гораздо раньше Н. К. заявил, что марксизм признает в человеке только «лавочные, карманные интересы», а Р. Сементковский уже после Н. К. выразился еще категоричнее о людях, которые «возвели в теорию и подкрепляют мнимо научными аргументами краткий принцип: «жрать».

Считаем совершенно лишним доказывать Н. К., что исторический материализм никогда не покушался свести психический мир к бреду голодающего. Доказывать это *теперь*, — значило бы ломиться в открытую дверь. Немногие из наших противников рискнут теперь высказать об этой теории столь примитивные суждения. Встречаясь же с такими суждениями у Н. К., мы имеем полное право подозревать, что, по его мнению, классовая борьба, возникающая на почве материальных интересов, исключает всякое влияние «нравственного элемента». Как, в самом деле, понять следующие слова:

«Сколько можно было бы насчитать этих жертв реакции, или, вернее, этих героев убеждения, которые не остановились ни перед чем, ни перед какими эгоистическими соображениями, а исполнили свой, подчас очень тяжелый, долг. «Идеологи» Франции явились в эпоху переживаемого кризиса, цветом и гордостью нации, и им мы обязаны идейным пробуждением страны. Как уложить их деятельность в игру материальных интересов и даже в рамки классовой борьбы»?

Вглядитесь в это рассуждение. Если французские идеологи не останавливались перед эгоистическими соображениями при выполнении того, что считали своим долгом, то их деятельность не вмещается в рамки классовой борьбы. Стало быть, по мнению Н. К., «классовая борьба» предполагает действие исключительно одних «эгоистических мотивов?» Какие тут эгоистические мотивы, восклицает наш автор,

когда «сколько нам ни приходилось слышать ревностных партизанов обновляющего третью республику движения, и великих, и малых, и ученых, и простых смертных, — у них одна фраза на устах: мы боремся во имя общечеловеческой справедливости. И не говорите, что это обыкновенная реторическая фраза, пустая декорация, за кулисами которой скрываются низменные интересы: люди эти самою деятельностью своей доказали, что слово не расходилось у них с делом, ибо они отдавали ему честь и жизнь».

Итак, Н. К. полагает, подобно Слонимскому, что учение, сводящее деятельность идеалогов к классовой борьбе, предполагает в этих последних «низменные», «карманные», «лавочные» интересы. Или, как говорит Н. Бельтов: «Если Кант занимался вопросами трансцендентальной этики, если он говорил о категориях рассудка или об антиномиях разума, то у него это все одни фразы, ему в действительности вовсе не интересны были ни антиномии, ни категории: ему нужно было только одно: доставить классу, к которому он принадлежал, т.-е. немецкой мелкой буржуазии, как можно больше вкусных блюд и «прекрасных невольниц». Категории и антиномии казались ему прекрасным средством для этого, вот он и стал разводить их» [1]). Тот взгляд на теорию классовой борьбы, над которым Н. Бельтов иронизирует в этих строках, целиком усвоил себе Н. К.

Нельзя не возмущаться, когда видишь, что самые блестящие публицисты из лагеря наших антагонистов считают совместимым с своим достоинством этот сорт полемики, при которой отвергаемая ими теория представляется в нарочито нелепом виде, в таком виде, в каком ее никогда не формулировали ее последователи, в таком виде, в котором ее и опровергать не стоит труда. Ну, стоит ли, в самом деле, толковать о теории, которая бы вздумала утверждать, будто бы за идеей справедливости или свободы скрываются «низменные интересы» разных Гарибальди и Кошутов, Робертов Блюмов или Рылеевых? Если-б теория исторического материализма утверждала что-либо подобное, то нужно ли было бы ожидать для ее опровержения, чтобы во Франции произошли последние события, когда история любой страны полна примеров героизма, не имеющего ничего общего с «низменными» эгоистичными интересами? И неужели мы никогда не дождемся более разборчивых, более уважающих свое достоинство публициста противников, которые решились бы бороться с нашей теорией в том виде, в котором с ней стоит бороться и который соответствует ее истинному характеру?

[1]) К вопросу о развитии монистического взгляда, стр. 179—180.

О, если бы Н. К. взял пример с одного из тех самых «героев убеждения», о которых он говорит в своей статье. В своей известной полемике с П. Лафаргом по вопросу об историческом материализме, Ж. Жорес в кратких, но убедительных словах опровергает тот нелепый взгляд, по которому исторический материализм якобы сводит всю деятельность людей к «эгоистическим» побуждениям. Напротив, говорит Жорес, именно поскольку материализм для об'яснения исторического процесса прибегает к понятию борьбы классов, постольку он необходимо предполагает, что деятельностью индивидов, составляющих класс, руководит нечто более широкое, чем «эгоистический» мотив в том смысле, как его понимают утилитаристы. Классовый эгоизм выступает в деятельности индивидуума, как мотив идейный, «альтруистический», нравственный.

Как видит читатель, Жорес для опровержения исторического материализма не считает нужным представить его предварительно в виде «низменной» теории о лавочных интересах, как это делают Н. К., Слонимские и т. д. Разница эта, надо полагать, происходит от того, что в лице Жореса мы имеем дело действительно, с «героем убеждения», прежде всего заинтересованным в полном и правильном освещении занимающего его теоретического вопроса. Быть может еще, эта разница зависит от того, что Жоресом в его полемике не руководила та антидемократическая тенденция, которая руководит нашим автором в его стремлениях обосновать претензию российских и европейских «интеллигентов». С тенденцией этой мы познакомимся ниже, пока же посоветуем Н. К. смотреть, по примеру Жореса, прямо в лицо враждебной теории. Перефразируя чичиковскую поговорку, скажем: победи нас беленькими, а черненькими нас всякий, даже Вл. Соловьев, победит.

Следовательно, если теория классовой борьбы вовсе не исключает действие в участвующих в борьбе лицах других побуждений, кроме «низменных», эгоистических, то все толки о самопожертвовании нынешних французских деятелей, о «бескорыстном» характере их движения (см. стр. 175), не вносят никакой «поправки» в данную теорию. Все речи Н. К. по этому поводу имели целью выразить собственно ту мысль, что современное движение французской интеллигенции не имеет никакой связи с классовой борьбой и классовыми противоречиями нашего века. Из данного положения Н. К. естественным образом выводит следующую надежду:

«Да, я уверен, что современное идейное течение во Франции указывает нам на приближение той эпохи, когда наиболее чуткое, а потому наиболее сильное, наиболее жизненное

меньшинство будет руководиться преимущественно убеждением, а не материальными и даже не классовыми интересами, и когда слово «справедливость» будет об'единяющим знаменем для людей разных общественных положений». Н. К. как-будто противоречит себе в этих строках. Ведь он убежден, что как-раз современное французское движение и представляет собою пример выступления «наиболее чуткого и т. д.» меньшинства на почве, никакой связи с материальными интересами не имеющей, так что, собственно, чудная эпоха, которую провидит Н. К. в близком будущем, уже наступила. Все дело лишь в том, чтобы временный под'ем французского «меньшинства» обратить в его нормальное состояние. Новым элементом в истории З. Европы является, таким образом, некое чуткое меньшинство, которое, руководствуясь исключительно понятием о справедливости, выступит для решения тех вопросов, которые не под силу погрязшим в материализм классам современного общества. Старая знакомая песнь, старая знакомая надежда.

О каком «меньшинстве» идет речь? Н. К. говорит в одном месте: «Эта, поднявшаяся на защиту справедливости интеллигенция, главным образом, вышла из рядов буржуазии: писатели, профессора, чиновники». Стало быть, речь идет об интеллигенции *буржуазной*, буржуазной во всяком смысле слова.

Во-первых, в том смысле, что она в громадном большинстве рекрутируется из буржуазных слоев общества, во-вторых. в том смысле, что она, по *основным своим убеждениям*, стоит на почве буржуазного общества. Этого факта, надо надеяться, Н. К. отрицать не станет. Ведь эти самые «профессора, писатели, чиновники» вчера еще избирали в парламент правых и левых буржуазных «республиканцев» и, вероятно, до сих пор еще уверены, что прогрессивно-подоходный налог весьма и весьма «сюбверсивная» выдумка... Буржуазность интеллигенции в указанном смысле находится в тесной связи с тем фактом, что она, т.-е. совокупность интеллигентных профессий, является одним из составных элементов развитого буржуазного строя, при том элементом, связанным с этим строем преимущественно положительными узами. Что заставляет Н. К. видеть в выступлении этой интеллигенции новый акт, — это подчеркивание ею самой своей роли *интеллигенции* в том россйском смысле слова, к которому приучила нас прогрессивная наша печать. «Странное дело, — говорит нам автор, — чем внимательнее я присматривался к упомянутому движению, чем более вдумывался в него, тем настойчивее выплывали в моей памяти различные перипетии нашего домашнего спора о роли интел-

лигенции, спора, имевшего такое значение в России начала 80-х годов. Некоторые подробности до такой степени совпадали в обоих случаях, что порою мне казалось, будто я вижу сон на яву, будто я снова в России и участвую в знакомых и страшно близких мне дебатах. Сколько раз мне хотелось воскликнуть вместе с Гейне, но воскликнуть не иронически, а с волнением:

„Не на родине ли милой
„Я уж слышал эти звуки?"

И, действительно, «звуки» оказываются и нам знакомые, хотя нас лично наполняющие все-таки скорее иронией, чем волнением. Н. К. приводит определение, данное в свое время Михайловским [1]) и, сопоставляя с ним сходное определение, данное недавно Поланом, восклицает: «Вот оно *русское* (курсив наш) определение интеллигенции, повторенное 20 лет спустя в стране, которая в своем политическом развитии скорее забегает вперед прочих стран, чем остается позади их. Работа мысли и существенное жизненное значение, придаваемое этой работе, — таков основной признак «интеллигенции» по мнению француза, принадлежащего к ней».

Видно, Н. К. имеет все основания радоваться. Не посрамляет ли факт возникновения во Франции «интеллигенции» в русском смысле слова тех дерзких людей, которые заявляют, что в учениях нашей этико-социологической школы русский дух «зады твердит и лжет за двух». Оказывается, что русский дух даже упреждает эволюцию европейской мысли. Того и гляди, что Полан или другой французский мыслитель заново напишет «Исторические письма».

«Союз народа и интеллигенции во имя общечеловеческой справедливости — вот знамя этого идейного движения», говорит Н. К., поясняя, что берет это выражение у «публицистов демократической буржуазии, вроде Пресансе». В этой формулировке для нас с Н. К. важно особенно то обстоятельство, что представители французской интеллигенции противопоставляют себя, как самостоятельный фактор, «народу».

«Общее условие, говорит Полан, необходимое для того, чтобы принадлежать к тем, которые могут представлять — не исключительно, но более, чем их сограждане — сознание народа, условие, которое предполагается всеми другими условиями, это специальное упражнение мысли, и особенно мысли независимой. А это значит, что те, которые удовле-

[1]) „Мы можем с чистой совестью сказать: мы интеллигенция, потому что мы многое знаем, обо многом размышляли, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой".

творяют этому условию, являются существенным образом «интеллигентами» (intellectuels). Нельзя... противопоставлять безусловно «интеллигента» тому, кто занимается такой профессией, в которой упражнение ума играет второстепенную роль, или даже ручным ремеслом. Интеллигенты есть и между рабочими, которые мыслят и более интересуются своими идеями, чем своим ежедневным трудом. Встречаются также и интеллигенты между торговцами и промышленниками, как встречаются они среди судей и чиновников».

Здесь ясно проведена идея противопоставления критически-мыслящих единиц некритическим массам [1]). *Социальное значение* этого противопоставления Полан выдает в следующих затем словах: «Конечно, в силу разных причин и хотя бы уже потому, что выбор карьеры указывает в известной мере на способности и вкусы или потому еще, что им возможно развиваться и упражняться, интеллигенты будут многочисленнее в тех профессиях, которые требуют, прежде всего, работы ума. Нечего, следовательно, удивляться, если в интересующий их вопрос вмешалось больше профессоров, чем машинистов, или литераторов, чем подметальщиков улиц».

Стало быть «интеллигенция», о которой говорит Полан, является не только совокупностью критически мыслящих личностей, но и известной социальной группой, совокупностью профессий, нарочито требующих «упражнения мысли». Не «машинисты», не «подметальщики улиц», хотя бы и возвысившиеся до уровня критической мысли, характеризуют в глазах Полана данное движение, точно так же, как не «торговцы и промышленники», но профессора и литераторы, вообще представители «либеральных профессий».

Полан представляет дело так, что среди критически мыслящих личностей, об'единенных самым фактом присущего им критического мышления и в силу того увлеченных в данный момент идеей справедливости, — большинство, в силу причин посторонних, является в то же время членами упомянутой нами *социальной* группы; не социальный интерес, стало быть, об'единил их в данном движении, а общность критического мышления. Мы полагаем, что в интересах понимания совершающихся явлений, элементы, над которыми оперирует Полан, должны быть координированы иначе. Мы

---

[1]) Сравни: „По одну сторону стоит масса, этот материальный, пассивный, не одухотворенный и не исторический элемент истории, по другую сторону — дух критики, Бруно и К°, в качестве активного элемента, от которого исходит всякое историческое действие". Маркс и Энгельс, „Святое семейство", цит. у Н. Бельтова, стр. 122.

выразились бы так: социальная группа, от имени которой говорит Полан, группа, об'единенная общими социальными интересами, определяемыми ее положением в развивающемся буржуазном обществе, — эта группа в сознании ее членов представляется простой совокупностью «критически-мыслящих» личностей, об'единенных исключительно фактом критического мышления, являющегося результатом «упражнения мысли», каковое понятие есть не что иное, как идеализированное выражение той функции «умственного» труда, которую данная группа призвана удовлетворять в дифференцированном обществе. Тот же феномен социальной психологии мы можем наблюдать и на других социальных группах. Так, например в обществе сословном, аристократия, фактически об'единенная общностью социальных интересов, в сознании своих идеологов является простой совокупностью «благородных» по чувствам и понятиям людей. Современный французский «интеллигент», отвлекая одну черту, характеризующую его социальную группу и представляя ее в идеализированном виде, выставляет эту черту истинным «принципом» своей группы, принципом, резко противополагающим эту группу, как «критически»[1]) мыслящую, прочим социальным группам. Так же точно аристократ былых времен, отвлекая от своей социальной группы одну черту «рыцарские чувства», т.-е. идеализированное выражение психического склада, созданного социальным положением аристократии, выставлял эти чувства истинным принципом, позволяющим противополагать данную группу, как благородно мыслящую и чувствующую, прочим неблагородным классам. И если Полан считает возможным в ряды «интеллигенции» ввести относительно-исключительные критические элементы других классов, то и иной умный аристократ былого времени считал желательным, чтобы аристократия поглощала те элементы неблагородных классов, которые по той или иной исключительной причине оказались при благородных чувствах.

Заметим, кстати, что в рассуждении Полана промелькнул-таки кончик буржуазного ушка. В числе причин, обусловливающих преобладание лиц либеральных профессий среди группы критически-мыслящих интеллигентов, наш философ упоминает и о том, что «самый выбор карьеры указывает в известной мере на способности и вкусы», — т.-е., что различием в способностях об'ясняется «до известной сте-

[1]) Полан не употребляет выражения „критически-мыслящий", но оно является вполне подходящим к тому понятию, которое он имеет в виду.

пени» тот факт, что миллионы свободных граждан обречены всю жизнь оставаться «подметальщиками улиц», тогда как немногие избранные совершенствуют свой интеллект и получают право преимущественно «представлять сознание своего народа».

В факте нынешнего выступления части французского общества под флагом «интеллигенции» следует отметить два важных момента.

Во-первых. Если нынешнее французское движение его партизанами формулируется, как «союз народа с интеллигенцией», то в этой формуле только второй член представляет собой новый термин в политической жизни французского общества. Под «народом» французское общество понимало всегда совокупность классов, не входящих в состав собственной буржуазии, т.-е. крестьян и городских мелких собственников, рабочих и босяков. Народ противополагался «буржуа», и последнее понятие покрывало собой и «интеллигента», который фактически и стоял рядом с «буржуа» в классовых конфликтах во Франции. Если теперь рядом с понятием «народ» ставится «интеллигенция», то этим прежде всего констатируется *расхождение буржуазной интеллигенции с буржуазией вообще* или точнее, с теми верхами буржуазии, которые в третьей республике имеют наибольшее социальное значение.

Во-вторых. Выделяя себя из буржуазии, французская «интеллигенция» не может отожествить себя и с «народом». Напротив. Часть народа прямо стоит на стороне врагов нынешнего движения; другая же часть, являющаяся наиболее прогрессивным классом общества [1]), все же с самого начала не проявила горячей симпатии к этому движению. Причина этого факта заключается в том обороте, который приняла эволюция классовой борьбы в третьей республике. Откровенно-классовый характер политики господствующих классов и *позорное равнодушие французской буржуазной интеллигенции* к усилению реакции во всех сферах общественной жизни страны породили это глубокое недоверие низших классов народа ко всяким прогрессивным течениям, исходящим из среды буржуазных идеологов. Встречаясь с этим фактом и явно видя его связь с эволюцией классовой борьбы, французский «интеллигент» сокрушается о глубоком материализме борющихся классов и находящимся под влиянием классового эгоизма народным массам противопоставляет себя, как бескорыстного борца за «справедливость», как преимущественно представляющего сознание народа. Поэтому, вы-

[1]) [Т.-е. — пролетариат].

деление «интеллигенции», как группы, не совпадающей ни с буржуазией, ни с народом, имеет свои причины в условиях классовой борьбы во Франции.

Это одно показывает, что нынешнее французское движение «во имя справедливости» не совсем уж бесплотно, что оно должно носить конкретную социальную физиономию. Конечно, сколько бы мы не вертели слова «нарушенное право» и «справедливость», «общечеловеческая справедливость», «герои убеждения» и т. п., мы не подвинемся ни на шаг к пониманию этой социальной физиономии. Если, как говорит Н. К., нынешнее общественное движение выросло «на почве страстного искания справедливости», то какова же социальная подпочва этой «почвы»? Речь идет о «нарушенном праве». Какие социальные силы явились заинтересованными в этом ряде правонарушений? Описывая отдельные эпизоды борьбы за дело Дрейфуса, Н. К. говорит: «Все силы реакции заключили тесный союз против жертвы шовинизма, милитаризма и антисемитизма». Если к упомянутым здесь силам прибавим клерикализм, о котором говорится в других местах статьи Н. К., то увидим, что самый факт нарушенного права должен являться не безразличным для тех социальных групп, которые находятся в антагонизме с упомянутыми силами. Нынешнее французское движение сказывается стоящим в связи с теми социальными конфликтами, в которых участвуют названные силы. И, действительно, антимилитарный и антиклерикальный характер движения, увлекающего французскую интеллигенцию, не составляет тайны ни для кого во Франции и вне ее. Посмотрим же, какое значение имеет проявляющаяся в этом движении борьба против всех этих «измов».

Прежде всего мы видим в данном движении акт той грандиозной борьбы, которую в этом веке ведет буржуазное общество с клерикализмом. Эта борьба есть прежде всего борьба интересов, она целиком «вмещается в рамки классовой борьбы». Развитие буржуазного общества стесняется влиянием клерикализма, который по всему духу своей идеологии и по исторической связи является надежным союзником реакционных по отношению к капитализму социальных сил. Известная гибкость клерикализма позволила ему, правда, в некоторых странах приспособиться к нуждам общественного развития и даже возвыситься в лице примыкающих к нему политических партий до роли руководителя развивающегося буржуазного общества; однако, такая позиция клерикализма недостаточно прочна: исторические традиции, равно как те интересы определенной корпорации, которым ближайшим образом он служит не позволяет ему итти нога

в ногу с развитием современного общества и, как только он достигает могущества, его реакционная (в социальном смысле слова) природа выступает на первый план.

Там, где, как во Франции, процесс общественного развития совершенно уничтожил следы феодальных учреждений, где клерикализм не находит вовсе почвы или не находит союзников в течениях социально-реакционного характера (каковы цеховые стремления, феодальные элементы аграрного движения), там современный клерикализм соединяется с теми чисто буржуазными элементами самого капиталистического общества, которые в процессе развития классовых антагонизмов стали в отрицательное отношение к дальнейшему прогрессу этого общества, несмотря на то, что этот прогресс ближайшим образом усиливает экономическое могущество этих именно слоев. Такими группами являются крупное капиталистическое землевладение, финансовая плутократия, угольные и тому подобные «бароны», словом, верхи буржуазии. Известно, как в течение последнего десятилетия эти слои, напуганные ростом демократии, поспешили прекратить борьбу с клерикализмом и как этот последний ловко воспользовался этим реакционным настроением руководящих групп буржуазии.

В этом реакционном движении французская плутократически-аграрная коалиция увлекала за собой массу буржуазии с ее интеллигенцией. Любопытную картину «реакционных вакханалий» французской буржуазии и отречение ее идеологов от заветов борьбы с клерикализмом дал Н. К. в одной из предшествующих своих корреспонденций («Р. Бог.», 1897 г. № 10).

Однако, если союз плутократии с клерикализмом может в одинаковой мере удовлетворять интересам обеих этих сил, то средняя буржуазия и особенно буржуазная интеллигенция не могут надолго отказаться от своих либеральных традиций без риска для своих социальных интересов. Чем более усиливается политическое влияние клерикализма, тем явственнее выступает его коренная враждебность прогрессу буржуазного общества и перед буржуазными массами встает призрак подчинения всего общества могучей клерикальной организации. Союз буржуазии с клерикализмом, для которого благоприятные условия должны были создаваться страхом буржуазии перед ростом социализма и анархистскими покушениями, покоился на непрочном основании и уже падение министерства Мелина в прошлом году обнаружило эту непрочность. И естественно, что застрельщиком в новой борьбе с клерикализмом должна была стать буржуазная интеллигенция, на счет интересов которой прежде всего со-

вершается заклание буржуазной культуры на алтаре клерикализма.

Надо еще обратить внимание на следующее обстоятельство. Когда Гамбетта провозгласил девизом республиканской буржуазии: «клерикализм — вот наш враг», то этот девиз был направлен столько же против реакционных врагов буржуазии, сколько против классов, стоящих левее ее. В этом последнем смысле он означал *подавление всех самостоятельных стремлений рабочего класса и мелкой буржуазии в пользу общих требований прогресса буржуазного общества*. Недаром этот девиз был торжественно провозглашен как-раз к тому времени, когда французский пролетариат стал проявлять первые признаки оживления от ран, понесенных им при рождении 3-ей республики [1]) (коммуна). Поскольку эта цель достигалась, постольку буржуазная интеллигенция получала возможность сыграть прогрессивную роль. Когда же клерикальный враг был разбит и в обществе выступили новые силы и новые стремления, оставлявшие за собой передовую буржуазную интеллигенцию и склонившие буржуазию к примирению с недавним врагом, идеологи последней, поскольку не последовали за ней в ее попятном шествии, оказались не при чем в происходившей в стране борьбе.

«Теперь люди вроде Ранка», — писал Н. К. [2]), — «которые в общей политике недалеко ушли от старого оппортунизма, но вместе с тем крепко держатся его антиклерикальных заветов, кажутся какими-то странными, допотопными животными, остатками исчезнувшей когда-то богатой фауны». Но ни одна идеологическая группа не соглашается на добровольное исчезновение. Неудивительно, поэтому, что деятели типа Ранка, представители буржуазного свободомыслия, выброшенного за борт буржуазного общества, подобно старому коню, услышавшему звук трубы, беззаветно ринулись в бой, когда оказалось, что разгул клерикальной реакции вновь стал создавать подходящую для них общественную атмосферу. Можно даже сказать, что для свободомыслящей французской интеллигенции необходима была эта полоса реакционных беснований правящих классов, необходимо было, чтобы буржуазное общество сделало несколько шагов назад, для того, чтобы она получила возможность вновь выступить в роли охранителя буржуазной культуры против ее злейших врагов. Наблюдая нынешние французские события из довольно почтенного далека и не имея под рукой ворохов французских газет, мы предложим Н. К. за нас подсчитать, ка-

---

[1]) Разгром Парижской Коммуны в 1871 г.
[2]) „Р. Б.“ 1897 г. № 10.

кие слова нынче чаще встречаются на столбцах этих газет: слово «справедливость», либо слова «клерикализм», «иезуит» и более или менее пикантная вариация тех же терминов, столь обычных у французских либералов. Быть может, это сравнение показало бы, что безбрежная в глазах Н. К. широта идейного движения во имя справедливости только прикрывает крайнюю узость мышления французских анти-клерикалов.

Говоря все это, мы опять-таки не имеем в виду «низменных» побуждений этих деятелей. Мотивы, побуждающие всех этих депутатов, писателей-профессоров «рисковать своим спокойствием, положением, жизнью и — что всего страшнее, — репутацией честных и бескорыстных граждан», эти мотивы в каждом индивидуальном случае могут быть высоконравственного свойства. Но, наблюдая эти высокие образцы нравственного характера и воздавая им должную дань удивления, не будем забывать о той социальной почве, на которой они развились; за идеологическими верхами французской «интеллигенции», не будем игнорировать ее широких низин, не забудем, напр., той массы народных учителей, которая в селах испытывает на себе самым материальным образом всю сладость натиска клерикализма на современную культуру, не забудем о тех свободомыслящих чиновниках, врачах, адвокатах, публицистах и т. д., которые на каждом шагу в повседневной жизни сталкиваются с мощным противником в сутане, опутывающим буржуазное общество провинциальных городов и безжалостно давящим все, не служащее целям его корпорации. Не забудем и того, что констатируемое Н. К. господство клерикализма в высших сферах Франции предполагает массу неудовлетворенных аппетитов искателей военной карьеры, не пользующихся покровительством всемогущей «иезуитни». Разумеется, свести все современное французское движение просто к акту антиклерикальной борьбы значило бы черезчур уже его упрощать. Но мы этого и не делаем, мы только расчленяем движение на отдельные, входящие в него процессы. Покончив с клерикализмом, мы можем перейти к другим затронутым силам.

Роль антисемитизма в борьбе, волнующей ныне французское общество, представляется нам сравнительно второстепенной и несамостоятельной. Как это отметил и Н. К., антисемитизм не имеет во Франции той глубокой социальной почвы, на которой он вырос в Австрии и Германии; точнее говоря, такая почва имеется для него лишь в Алжирии. В самой же Франции антисемитизм является видоизменением обще-клерикальных и аристократических направлений; свою низменную партию в общем реакционном хоре он ныне

сыграл, отчасти опираясь на классовую борьбу в Алжире, главным же образом, примкнув к националистической демагогии.

Главной силой той коалиции, против которой направлено нынешнее движение, является, конечно, милитаризм. Как указывается в статье нашего автора, французское офицерство является прибежищем отпрысков французского дворянства, потерявшего в этом столетии свою социальную силу. Вместе с тем, и благодаря тому же обстоятельству, офицерство оказалось связанным интимными узами с клерикальной организацией. Борьба, направленная против непомерной силы, приобретенной «военной кликой», стоит, поэтому, в связи с борьбой буржуазии против клерикально-аристократических стремлений. Несмотря, однако, на такой социальный характер офицерства, последнее в течение всего существования третьей республики не вызывало против себя буржуазной оппозиции и политические партии лелеяли эту реакционную силу. Отношение буржуазного общества к милитаризму исполнено глубоких противоречий. Торжество буржуазного способа производства представлялось прежним идеологам буржуазии началом мирного периода в истории человечества и они выставляли идеал замены постоянных армий «вооруженным народом». Протест буржуазии против милитаризма отражал собой потребность капиталистического способа производства в сохранении мира, с другой стороны, это был протест против враждебного буржуазии класса, опиравшегося на военную касту и исторически с нею связанного. На самом же деле именно развитие капиталистического способа производства привело к неслыханному дотоле расцвету милитаризма. Не станем здесь повторять достаточно известные соображения о связи милитаризма с капиталом, о глубокой необходимости для современных капиталистических стран системы «вооруженного мира» с вечной погоней за колониальными приобретениями, с вечной угрозой страшной всемирной войны. Важно то, что буржуазные государства, освободившись от феодальных учреждений, оказались вынужденными культивировать ту самую силу, которая неизбежно должна была остаться во власти реакционных по отношению к буржуазии элементов. Везде в Западной Европе (не исключая даже Англии) офицерство является хранителем феодальных традиций. Буржуазный либерализм сокрушается об этом факте в тех случаях, когда из «хранилища чести» резко пахнет духом прошлых веков, но тот же либерализм осужден поддерживать это «хранилище», вынужден не прикасаться к его феодальному обличью. Буржуазное общество нуждается в сильной армии, как для целей

внешнего могущества, так и для сохранения внутреннего порядка. А выросшая на почве этих нужд буржуазного общества корпорация проявляет естественную тенденцию стать силой самостоятельной по отношению к этому обществу. В стране, где классовые противоречия находят выход в наиболее резких столкновениях, во Франции это противоречие между армией, как органом капиталистического строя, и армией, как корпорацией, стремящейся к господству над гражданским обществом, выражается наиболее ярко. История обоих Наполеонов является иллюстрацией этого противоречия. История 3-ей республики сопровождалась развитием того же противоречия.

Нам скажут, что усиление значения французской военной касты есть результат болезненного развития французского патриотизма под влиянием исхода последней войны (1870—1871 г.г.). Не станем отрицать громадного значения этого обстоятельства. Но, не говоря уже о том, что столкновение Франции и Германии и исход его является результатом внутренней эволюции каждого из этих государств, нужно еще иметь в виду, что самое развитие шовинизма в период 3-ей республики носит на себе печать влияния социальной эволюции. Не забудем, прежде всего, что нынешняя французская армия приобрела особые права на уважение буржуазного общества не столько в 1870 г., сколько в 1871 году [1]).

Мы уже говорили по поводу анти-клерикальной идеологии, что свободомыслящая французская буржуазия стремилась наложить угодную ей печать на самостоятельные движения низших классов. В этом проявляется основная потребность каждого господствующего или стремящегося к господству класса. Ни один класс не может считать своего господства упроченным, если ему не удалось наложить печать своих идей на все общество. Если анти-клерикализм являлся подходящей идеологией для французской буржуазии, стремившейся помощью всех сил страны сломить реакционные классы, то патриотизм является одной из идей, наиболее соответствующих интересам буржуазии, уже добившейся господства. Когда французский буржуа вопит: «Не касайтесь армии, ибо она воплощает единство отечества», он этим констатирует тот факт, что господство шовинизма в исполненном классовых противоречий обществе обратно-пропорционально развитию враждебных буржуазии классовых стремлений. Социальный характер современного французского шовинизма, якобы порожденного идеей реванша, как нельзя лучше проявляется в том факте, что господствующие классы

[1]) Благодаря разгрому Парижской Коммуны 1871 г.

продолжают развивать и раздувать этот шовинизм в то самое время, когда дело реванша бесповоротно сдано в архив дипломатическими комбинациями последнего десятилетия. Одним из результатов основного противоречия в отношении буржуазного общества к милитаризму является во Франции постоянное образование цезаристско-шовинистической демагогии, увлекающей за собой неорганизованную часть рабочего класса, мелкую буржуазию, люмпенпролетариат и частью крестьян. Так было во время 48—51 г.г., так было в прошлом десятилетии в эпоху буланжизма, то же замечается и теперь. Нечего пояснять, что если толчек этому движению низших классов дается сверху, то социальной почвой для него является всегда экономическое положение этих народных масс. В лице шовинистической демагогии французская буржуазия ныне опять, как в эпоху бонапартизма и буланжизма, встречается с ею же самой, в ее классовых интересах, разнузданными силами, с которыми она не в состоянии уже справиться и которые в союзе с клерикально-реакционными группами начинают грозить самым формам государственного строя, наилучше обеспечивающим существование и развитие капиталистического способа производства.

И в то время, как стоящая во главе буржуазных масс плутократия в слепом страхе перед низшими классами продолжает поддерживать эти выросшие до грозных размеров силы, — на другом полюсе буржуазии — среди буржуазной интеллигенции—всегда в такие моменты проявлялось инстинктное понимание интересов буржуазии и интересов развития всего капиталистического общества. «Идеологи» вступали в борьбу с Наполеоном I; политики, писатели и ученые буржуазии вместе с рядовой интеллигенцией боролись против Наполеона III. Но в том и другом случае масса буржуазии под свежим впечатлением грозных социальных бурь не пошла за своей интеллигенцией, предавала страну цезаризму и низшие классы, только что перед тем испытавшие «кровопускание», относились пассивно к совершавшимся событиям. В эти моменты буржуазная интеллигенция оказывалась в трагическом положении, яркую картину которого представляет знаменитая сцена убийства депутата Бодэна в 1851 году на глазах парижских рабочих. В таких случаях слово «идеолог» (ныне intellectuel) становилось бранной кличкой, которой буржуазия отмечала свою измену высшим политическим интересам своего класса. Поскольку значительная часть французской буржуазии ныне с пеной у рта нападет на «дрейфуссаров», она разыгрывает ту же самую роль и по тем же самым побуждениям. Но времена переме-

нились и в самой Франции классовые антагонизмы, несмотря на свое обострение с развитием капитализма, выражаются в менее потрясающих воображение формах, почему и реакционное настроение буржуазных масс должно быть менее глубоким, чем в период 48—51 г.г.; а в то же время трудящиеся классы далеко ушли вперед с той поры и это обстоятельство позволяет надеяться на то, что буржуазная интеллигенция ныне с большим успехом отстоит республику от порабощения реакционными элементами, несмотря на союз плутократии с этими последними.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем таким образом, формулировать «мораль» нынешних французских событий.

Буржуазное государство развило могучую военную силу и в интересах внутреннего порядка и внешнего могущества давало этой силе дорасти до таких размеров, когда она стала опасной для самого существования этого государства. Классовая борьба сблизила крупную буржуазию с клерикальными элементами и побудила ее допустить подчинение военной силы клерикально-аристократической партии; эти реакционные настроения, исходящие от крупной буржуазии, оказывали свое влияние на все буржуазное общество вплоть до его интеллигенции. Шовинизм, культивируемый буржуазией в своих же классовых интересах, вызвал в народных массах на почве противоречий капиталистического строя опасные для существования республики стремления, которые явились удобным об'ектом политической эксплоатации для реакционного «союза шпаги с сутаной». «Дело Дрейфуса» показало французской буржуазии эту опасность и сознание последней пробудило «интеллигенцию», наиболее заинтересованную в развитии политических форм буржуазного строя; и надо сознаться, что для этого «пробуждения» понадобилось много очень чувствительных толчков и что общественной «чуткости» всего меньше проявило то «наиболее чуткое, наиболее жизненное меньшинство», каким Н. К. представляется французская интеллигенция. Чтобы движение приняло широкий характер, нужен был целый ряд надругательств над правом, целый ряд бесцеремонных расправ реакционной клики над светилами буржуазного мира.

Так или иначе, но инстинкт, движущий французскими intellectuel, есть пробудившийся классовый инстинкт буржуазии. Это обстоятельство обещает данному движению возможность успеха, дает основание думать, что вопреки плутократии большинство буржуазии в конце-концов поддастся влиянию этого движения.

Об'ясняя социальную основу данного движения и классовые интересы, его породившие, мы должны казаться Н. К. чрезвычайно «узкими». В нашем об'яснении нет места «страстному исканию справедливости», при том справедливости обще-человеческой, а между тем в нем-то и заключается, по мнению нашего автора, смысл движения. «Вопрос перерос Дрейфуса», —говорит он, — «перерос приговор отдельного военного суда... Речь идет теперь о пересмотре всемирно-исторической системы несправедливости, которая *пышно разрослась за последние 30 лет* (курсив наш) в Западной Европе».

Это очень любезно со стороны Н. К., что он пояснил, что та всемирно историческая система несправедливости, о «пересмотре» которой ныне идет речь, насчитывает не более 30 лет от роду. Тем самым он избавляет нас от обязанности подробно доказывать, что идейное значение данного движения ограничено сравнительно узкими пределами вопросов о тех реакционных «недостройках», которые в процессе классовой и международной борьбы выросли на основе капиталистического строя в последнюю четверть нашего века. Страстное искание справедливости не касается той всемирной системы «несправедливости», которая насчитывает за собой много более 30 лет, на основе которой выросла и та частная «система несправедливости», пересматривать которую берутся французские интеллигенты. Н. К. указывает на тот факт, что движение в пользу Дрейфуса нашло за пределами Франции отклики, возбудив в разных странах вмешательство частных лиц в пользу других жертв судебной ошибки. Это вполне естественно и общественный смысл этих явлений «подражания» заключается в констатировании ими общей тождественности социальных злоб для всего европейского континента, которой соответствуют, если можно так выразиться, аналогичные социальные настроения [1]). И только эти аналогичные социальные настроения получили выражение в проявившихся под влиянием французских событий по-

[1]) Мы знаем, что возникшие в других странах движения в защиту разных осужденных не имеют сходного с французским движением анти-милитарного характера. Общую основу этих движений, сближающую их с французским, мы усматриваем в стремлениях общественного мнения отвоевать право вмешательства в деятельность государственных органов буржуазного общества, органов, которые в силу условий, созданных развитием классовых антагонизмов в последнюю четверть века, везде приобрели, подобно военной корпорации во Франции, чрезмерное значение. Речь идет о протесте против чрезмерного развития „авторитаризма“ в современных буржуазных государствах на континенте. Вне этого протеста выступление отдельных гуманных лиц в защиту жертв судебной ошибки теряет всякое общественное значение.

пытках «искания справедливости». А вот, например, не так еще давно в Германском городе Эссене был осужден по обвинению в лжеприсяге рудокоп Шредер. Миллионы германских граждан считают его осуждение актом «классовой юстиции» в самом низменном смысле слова. Так вот, в поисках за об'ектами для проявления своих стремлений к справедливости германское общество и не подумало и, можно наверное предсказать, не подумает обратиться к этому случаю и рудокоп Шредер, досиживая свой срок в смирительном доме, пожалуй, не догадается, что за его стенами воздвигается величественное здание общечеловеческой справедливости.

Мы как нельзя более далеки от того, чтобы констатированием конкретного социального характера данного движения признать его ничтожным, «узко-буржуазным», а стало быть не имеющим значения для небуржуазного человека. Напротив, именно поскольку мы вводим данное движение в рамки классовых противоречий современного общества, мы признаем за ним крупное общественное значение. И, конечно, мы не думаем, чтобы небуржуазная Франция, а с ней вся небуржуазная Европа, не были заинтересованы в этом движении. В этом случае мы, вероятно, окажемся одного мнения с Н. К., полагая, что интересы французских тружеников в течение заполнявшей прошлый год борьбы гораздо шире поняли: «идеалист» Жорес и утопист Себастьян Фор, чем марксист Гэд и практический политик Мильеран.

Возвращаясь к роли французской интеллигенции, мы заметим, что Н. К. черезчур ослеплен красотой ее нынешнего выступления на политическую сцену. Эмфатические надежды, которые он связывает с этим фактом, мыслимы лишь при игнорировании того маленького обстоятельства, что в то время, как французская буржуазная интеллигенция, наука и литература в течение последней четверти века пережевывали, за редкими исключениями, старые «истины» начала столетия, среди буржуазной интеллигенции хотя бы Германии и Австрии возникли и сильно развились (разумеется, под влиянием социальной борьбы) идейные направления, которые — как бы отрицательно ни относиться к их претензиям и их теоретической состоятельности, — во всяком случае, давно уже пытаются решить в новом духе (и при том, «на почве справедливости») основные проблемы современной цивилизации, проблемы, по отношению к которым вопросы, ныне затронутые во Франции, об антисемитизме и шовинизме, являются вопросами производными. И если нам возразят, что «социально этическое» (в широком смысле слова) движение в этих странах в немалой мере питается реакционными в сравнении с буржуазным индивидуализ-

мом традициями, то мы укажем на Бельгию, Швейцарию, даже Италию, где эти стремления пробиваются в связи с буржуазно-демократическими идеологиями. Нечего упоминать об Англии, где мысль буржуазной интеллигенции создала такие движения, как, например, Фабианское, до социального идеализма которого вряд ли когда возвысится нынешний французский intellectuel не только типа Прессансэ, но, пожалуй, и типа Клемансо.

Один высокий порыв, обусловленный напряженной социальной борьбой, не может произвести глубокого переворота в мышлении целого поколения; в лучшем случае, он может — если тому способствует общая социальная эволюция — положить начало новым идейным направлениям, которым придется бороться со старыми идеологическими формами. Во всяком случае, пока мы только видим, что глубоко взволновалось море французской интеллигенции, но ничего еще не знаем насчет того, на каком уровне улягутся его воды по миновании бури.

Н. К. знает больше. Вверяя свой челн разбушевавшейся стихии, он с гребня, подхватившей его волны, восклицает: «берег, берег». «Да, справедливость становится в современной Франции все более и более регулирующим элементом и в известной степени начинает связывать между собой даже борющиеся классовые интересы: вы можете теперь услышать чуть не ежеминутно на собраниях в честь Пикара, как и ученые из буржуазной среды и рабочие выражают сильное желание итти рука об руку вперед, и после торжества правды в деле Дрейфуса, как они обещают продолжать это «взаимное общение» друг с другом и разрешать возможные недоразумения добросовестным обсуждением разделяющих их классовых вопросов. Пока важно одно: с той и другой стороны падают стены классовых предрассудков». Одним словом, обмен любезностей или нет более экономического материализма!

Все это делает, несомненно, честь добродушию парижских рабочих, но в то же время намекает и на некоторую короткость их памяти. Только недавно они отпраздновали полувековой юбилей событий 48-го года, в самом начале которых Ламартин провозгласил, что целью их является «уничтожить то страшное недоразумение», которое существует между различными классами» [1]). Стало быть, уже тогда

[1]) В „18 брюмера" К. Маркса первые дни второй республики охарактеризованы так: „Первый период. От 24 февраля до 4 мая 1848 года. Февральский период. Пролог. Всеобщее братание". Смысл этого братания выяснен особенно рельефно в другом сочинении этого же автора: „Классовая борьба во Франции в 1848 г."

цвет буржуазной интеллигенции не прочь был разрешать «недоразумения». Стало быть никакой особой новой эры заявлениями нынешних французских интеллигентов не открывается. А если мы припомним, что в других странах Запада толки о добросовестном разрешении данных «недоразумений» раздаются уже давно и что до сих пор буржуазная синица нигде моря не зажгла, то спокойное наше отношение к парижским декламациям об'яснится, быть может, не одной лишь нечувствительностью нашей «материалистической» души.

Надежда окрыляет Н. К., собственно, потому, что «трепет энтузиазма» в представителях разных классов вызывает ныне именно «справедливость», а не другое какое-либо общее понятие, например, слово «братство», опьянявшее французских интеллигентов и рабочих в эпоху Ламартина. «Не буду даже спорить, говорит Н. К., против того, что понятие о справедливости и содержание убеждения выросли на почве реальных людских отношений и интересов: с меня довольно того, что нравственный элемент взломал теперь своим могущественным ростом ту первоначальную почву, где зрело его семя и неудержимо стремится вверх, на простор к солнцу и свету. Пусть так, но слово «справедливость» является теперь для нас термином, при помощи которого мы можем столковаться. Ибо, если меняется содержание справедливости, сообразно эпохе и среде, то настроение, при котором я совершаю известный *справедливый*, по моему мнению, акт, само это настроение отличается уже специфической устойчивостью. Говоря с вами о справедливом и несправедливом, хотя этим формам сознания соответствуют известные об'ективные элементы, я делаю то же самое, что делаю, говоря с вами в практике жизни о красном и фиолетовом цветах, вместо того, чтобы толковать о 395 и 763 биллионах колебаний в секунду».

Вся эта тирада может служить иллюстрацией остроумного замечания, сделанного некогда Михайловским относительно писателей, которыми «владеет» их собственное бойкое перо, увлекая звуком выписываемых слов в стороны от логического развития идей, защищаемой автором. Н. К. хочет доказать, что, несмотря на определяемость содержания идеи «справедливость» социальными условиями, при помощи этого термина можно столковаться. *Для доказательства этой мысли* он приводит соображения о том, что настроение, при котором совершается суб'ективно-справедливый акт, отличается специфической устойчивостью. Читателю прежде всего должно притти в голову, что эта устойчивость настроения, в которое входит этический момент справедливости, и является самым серьезным препятствием

для соглашения коренным образом враждебных элементов. Он вспоминает, что самые кровавые страницы в истории человечества написаны людьми, глубоко убежденными, что борятся за дело справедливости. Он вспоминает трагическую фигуру Юлиана-отступника, вступающего в борьбу за то, что он считал справедливым, против людей, столь же убежденных в том, что отстаивают дело справедливости. Руководимые «практическими соображениями Сиэйсы и Талейраны спокойно дожидаются своего времени, тогда как глубоко уверенные в своей нравственной правоте жирондисты наполняют страну гражданскими междоусобиями, не находя в своем нравственном настроении никакой почвы для соглашения со столь же нравственно правыми Маратами и Робеспьерами. Вместо того, чтобы показать нам, каким образом устойчивость этического настроения может парализовать коренную противоположность содержания того, что отдельные классы признают «справедливым», Н. К. начинает сравнивать разговор о «справедливом» и «несправедливом», содержание каковых понятий, как сам он признает, *противоречиво*, с обыденной речью о «красном» и «фиолетовом», т.-е. о понятиях, которые у всех людей с нормальными органами зрения являются одинаковыми. При таких условиях несомненное изящество употребленной нашим автором риторической фигуры сравнения вполне гармонирует с ее теоретической бессодержательностью. Какой-либо смысл она получила бы в том лишь случае, если бы Н. К. вел дело к тому, что «человеческой природе» в «нормальном» состоянии, создаваемом действием «специфически-устойчивого» этического настроения, свойственно также единство воззрений на «справедливое» и «несправедливое», какое существует у физически-нормальных людей относительно красного и фиолетового цветов. Но в случае, если бы Н. К. вместе с старыми утопистами тяготел именно к этому взгляду, ему нужно было бы свести более серьезным образом счеты с вопросом об определяемости содержания обычных этических понятий условиями эпохи и среды. До тех же пор, пока эти счеты остаются не сведенными, приходится думать, что в вопросах социальной психологии, наиболее надежным методом для того, чтобы, если не «столковаться», то хоть взаимно понимать друг друга, остается именно перевод терминов «красного» и «фиолетового» цветов (т.-е. субъективных представлений социальных групп) на объективный язык «биллионов колебаний», т.-е. реальных интересов, лежащих в основании этих представлений.

Что же касается рассказа о нравственном семени, взломавшем своим могущественным ростом почву, в которой оно

созрело, то, не отвергая изящества этого оборота речи, мы не можем забыть, что собственно «идейное пробуждение Франции» существует всего-то без году неделя, так что феномен, о котором повествует Н. К., напоминает показываемый индейскими факирами фокус, при котором только-что заброшенное в почву семя «рвется на простор, к солнцу и свету».

Недаром еще Полежаев писал о французах:

Француз — дитя:
Он вам, шутя,
Разрушит трон,
Издаст закон.

Детский лепет, быть может, зарождающегося во Франции «социально-этического» движения представляется Н. К. лозунгом, обещающим человечеству разрешение его великих задач. Как мало нужно российскому этико-социологу, чтобы воспламениться надеждой на то, что эти задачи разрешатся на пути, идущем в стороне от широкой колеи классовой борьбы. И, с другой стороны, как велико должно быть отвращение к путешествию по этой колее, чтобы так беззаветно приглашать шествовать по вновь открытой тропинке.

А любопытно было бы знать, как отзываются нынешние парижские декламации в честь «справедливости» на воззрениях передовых буржуазных идеологов на основные вопросы текущей французской политики: например, как смотрит Прессансэ на нечестивый, нарушающий великие заветы великой революции [1]), законопроект о прогрессивно-подоходном налоге, или как, например, Ив Гюйо смотрит на вопрос о законом установленом нормальном рабочем дне...

Если французская буржуазная интеллигенция из политического урока, даваемого ей «делом Дрейфуса», вынесет хотя бы стремление обновить свои социально-экономические воззрения и возвысит их хотя бы до уровня передовых буржуазных направлений Запада, то и тогда, конечно, значение нынешних французских событий будет не мало. Не нужно только раздувать это значение, не следует из буржуазной мухи делать слона общечеловеческой справедливости, не

[1]) Он нарушает „свободу", ибо требует контроля государства над доходностью капиталистических предприятий и вторжения в святая святых гражданина; он нарушает „равенство", ибо какое равенство идеальнее равенства процента, взимаемого с разных категорий доходов; он нарушает, наконец, „братство", ибо утверждает антагонизм между классами, платящими высший и низший размер налога и сеет зависть обнажением имущественных различий. Нужно ли прибавлять, что он попирает и единственно истинную „справедливость" и что настроение, которое диктует эту *принципиальную* борьбу против данного законопроекта, отличается „специфической устойчивостью".

нужно профанировать этого девиза, которым везде от Калифорнии до Урала санкционирует свои классовые стремления антипод буржуазии.

Впрочем, точно не нужно ли? Ведь это еще как для кого. Для нас с вами, читатель, это действительно не нужно, а для сотрудника «Русск. Богатства» это раздувание оказалось подходящим делом.

Хотя статья Н. К. трактует о французских событиях, но, по существу, она имеет самое непосредственное отношение к нашим российским вопросам. Если мы видели, как отражаются французские события сквозь очки русского «этико-социолога», то не лишне познакомиться поближе со свойствами самих этих очков.

Н. К. отмечает тот факт, что по адресу нынешних французских intellectuels раздаются со стороны буржуазии упреки, аналогичные тем, которые делались русской интеллигенции в начале 80-х годов; он, как мы видели, указывает, что на эти упреки представители французской интеллигенции отвечают таким же образом, как отвечали представители русской интеллигенции в 80-х годах.

В какой мере, вообще, можно провести аналогию между этими двумя периодами в истории обоих стран? Общим является то, что и у нас в начале 80-х годов, и во Франции конца 90-х годов «интеллигенция» резко разошлась в своих стремлениях с массами буржуазного общества, плоть от плоти которого она составляет [1]).

Действительно, интересный спор об «интеллигенции», происходивший у нас в начале 80-х годов, был вызван тем, что буржуазное общество под влиянием известных событий ударилось в реакцию и стало выражать резкое недовольство своими литературными представителями, несмотря на то, что те как-раз к этому времени ввели свои идеологии в рамки наиболее жгучих потребностей развития общества по капиталистическому пути [2]). То было время, когда из залы

---

[1]) Мы, конечно, отвлекаемся здесь от различий между составом самого буржуазного общества высоко развитой экономически Франции и складом русского буржуазного общества, в избытке прошпигованного бюрократическими и крепостническими элементами.

[2]) В то же время идейная реакция буржуазного общества подхватила как раз те идеи, которые эта же интеллигенция разрабатывала в 70-х годах (в частности и идею противоположения „народа“ „интеллигенции“) и утилизировала их для своих реакционных целей. Печальнее всего, что часть народников не сумела в это время разобраться в этой перемене декораций и в лице иных своих представителей приветствовала игру господствующих классов словами „народная политика“ и т. п. В миазмах этих общественных настроений возмужала и муза В. В. (Воронцова).

Тверского Земского Собрания удаляли на чердак портрет М. Е. Салтыкова, когда масса «культурного общества» отвращалась от либеральных направлений к «нововременским». Со столбцов «нововременской» (в общем смысле слова) печати и раздавались упреки по адресу «интеллигенции» за ее, якобы, анти-народные либеральные стремления.

На этом, однако, и прекращается аналогия двух эпох. Основное же различие заключается в том, что во Франции выступление интеллигенции знаменует собою, повидимому, начало процесса отвлечения доброй части буржуазии от союза с клерикальными и иными реакционными силами, тогда как в начале 80-х годов у нас буржуазное общество покидало интеллигенцию, которой оно в общем сочувствовало в предшествовавшие годы. В одном случае буржуазная интеллигенция увлекает за собой буржуазные массы, с которыми вместе пережила долгий период реакционного маразма, в другом интеллигенция оставалась одна на мели, обнажившейся после отлива волн «общественного мнения», либерального в течение 70-х годов. А в силу этого различия и неодинаковое впечатление производят речи русских «интеллигентов» в одном случае и речи французских intellectuels в другом. Если в речах последних замечается чрезвычайная идеализация специфических достоинств «интеллигенции», то все же за звучными словами слышатся весьма мужественные ноты — симптом связи этих речей с назревшими потребностями целого класса. А в речах русских писателей начала 80-х годов, как нельзя рельефнее проявлялось бессилие, красиво драпирующееся в плаще общих мест. Один из тогдашних народников той фракции, которую Михайловский называет «отказавшейся от наследства», в таких иронических строках отзывался об этих речах. «У нас есть Губонины, но это дети материализованного, грубого, вечно гонющегося за насущным хлебом народа, а не невинной младенчески-чистой интеллигенции, которая ничего не пьет, кроме нектара поэзии, и ничем не закусывает, кроме идей и принципов. Какое счастливое и загадочное существо эта интеллигенция без желудка, без плоти и крови, вся сотканная из какой-то эфирной дымки» [1]).

И автор был прав в своей иронии. Если Н. Михайловский заявлял, что «Интеллигенция это Лермонтов», полагая этим наделить ее зараз двумя качествами: анти-буржуазностью и повиновением внушениям высших чувств и идей», то В. Гольцев уже прямо провозглашал интеллигенцию «воплощением ума, таланта и образованности». «Противопо-

[1]) „Интеллигенция, народ и буржуазия", „Дело", 1881 г. № 12.

лагать ее можно только невежеству, глупости и бездарности». Небуржуазность интеллигенции Гольцев доказывал тем, что «она не расположена ни в печати, ни в земских собраниях к буржуазному принципу laissez faire и также к принципу невмешательства государства в экономическую жизнь народа».

Эти самовлюбленные речи производят грустное впечатление потому, что они говорились в такое время, когда интеллигенция теряла и то ничтожное общественное влияние, которым она пользовалась еще в предыдущее десятилетие и когда здравый смысл требовал от нее, чтобы она выяснила себе основные причины своего бессилия. Взамен того напыщенные фразы о собственном великолепии.

Н. К. об этой эпохе вспоминает «с волнением» и с грустью замечает: — «с тех пор прошло не мало лет и значение «интеллигенции» вместе с самым словом кануло у нас в Лету «забытых слов». — Мы этого не находим, ибо помимо Н. К. об «интеллигенции» в старо-заветном смысле слова у нас толкуют еще довольно многие. Не в этом, однако, дело. «Разные Иваны, не помнящие родства, ввели даже в моду хихиканье над интеллигенцией и приписывание ей горделивых замыслов, в которых она, бедняжка, по теперешним временам, не может быть виновна».

«Иваны, не помнящие родства» невольно напоминают о тех вредных суб'ектах, которые якобы «отказываются от наследства». Н. К., подобно Михайловскому, совершает «подстановку» взглядов одних противников того направления, к которому он принадлежит, на место совершенно отличных от них взглядов других его противников. В «горделивых замыслах» обвиняла «интеллигенцию» буржуазная пресса в начале прошлого десятилетия. «Беспочвенной» интеллигенции с ее стремлениями к европейским общественно-юридическим формам буржуазная печать противопоставляла единый и нераздельный почвенный «народ», т.-е. всю прочую Россию, которая, дескать, в силу своих самобытных свойств, знать не желает об этих европейских формах и не нуждается в них. На этом основании прогрессивные стремления интеллигенции провозглашались дерзким замыслом свернуть отечество с историей предписанного пути. Раздаются ли теперь такие упреки по адресу интеллигенции на столбцах печати, представляющей точку зрения «среднего» русского буржуазного обывателя? Нет, с прекращением его реакционного настроения обыватель перестал брыкаться в сторону своей интеллигенции и клики подобного рода составляют удел одних лишь патентованных органов мракобесия. Напротив того, разговоры о значении и бескорыстии

интеллигенции ведутся ныне и такими органами печати, как «Новое Время» [1]) и, например, когда появилось новое направление русской общественной мысли, шедшее в разрез с традиционными взглядами русского либерализма и народничества (марксизм), то вся не безусловно реакционная пресса оказалась солидарной в своей антипатии к этим «отрицателям точки зрения русской интеллигенции, и Буренин впервые обменялся с Михайловским учтивыми приветствиями.

Ныне сознание среднего буржуазного обывателя не стоит в резком антагонизме с стремлениями «интеллигенции», и с этой стороны интеллигенции не приходится слышать упреков в горделивых замыслах. Но такие упреки — увы — ныне выходят из лагеря самой интеллигенции по адресу «русских учеников», когда последние обличаются в стремлении итти против вековых традиций экономического строя России. Поэтому Н. К. следовало бы несколько определеннее выразиться о характере упреков, посылаемых «Иванами» по адресу интеллигенции. «Иваны» не считают замысел интеллигенции «горделивым», они склонны думать, что восхищающая самих представителей интеллигенции «общечеловеческая» широта их стремлений на самом-то деле является изрядной узостью: что столь прославленный высокий идеализм русской «этико-социологической» интеллигенции ползает довольно-таки низко по сравнению с признающим свой классовый характер идеализмом представителей прогрессивнейших западно-европейских движений. И не в «горделивых замыслах» упрекаем мы «интеллигенцию», а в горделивых фразах и горделивом игнорировании тех идейных сил, которые вырастают в современной России, вне сферы интеллигентного общества, сил, от развития которых прежде всего зависит осуществление действительно прогрессивных стремлений интеллигенции.

Игнорирование значения этих сил можно наблюдать у представителей интеллигенции и в том случае, когда они толкуют о западно-европейских событиях. Только при таком игнорировании самых могучих движений нашего времени можно представить события, о которых толкует Н. К., началом «идейного пробуждения Франции». Идейное пробуждение предполагает предшествовавшее состояние идейного сна. Значат ли слова Н. К., что до 1898 г. вся Франция была погружена в реакционный сон? Что текущее десятилетие представляет непрерывный процесс идейного роста небуржуазной Франции — об этом Н. К. забывает, упившись зрелищем пробуждения буржуазной интеллигенции. И из

[1]) См. „Новое Время“ № 8236 (31 янв. 1899 г.).

разыгравшихся на глазах у него событий, он опять-таки для поучения русского читателя выводит мораль, говорящую о такой же широте взгляда: «одним из *главнейших* (курсив наш) итогов приходится признать значение в жизни страны ее интеллигентного меньшинства и в этом интеллигентном меньшинстве влияние сильных инициативой личностей, обращающихся к народу в интересах общечеловеческих идеалов справедливости... Вопрос о роли интеллигенции может получить вскоре повсюду такой существенный интерес, что с ним придется считаться теоретикам голой классовой борьбы». Читатель помнит, что, по уверению Н. К., выступление интеллигенции «в интересах общечеловеческих идеалов справедливости» не вмещается в рамки классовой борьбы. Далее, по мнению нашего автора, французские события вносят «поправку» не только в теорию, но и в практику общественного развития. Наконец, мы видели, для какого употребления утилизируются идеалы справедливости «общечеловеческой» — для того, чтобы при помощи их согласить антагонистические социальные группы. Из всего этого следует, что нашему этико-социологу рисуется такая «идеальная» картина близкого будущего: классовых столкновений нет, все овцы целы, все волки сыты и шествуют рядом мирно по пути развития «общечеловеческой» справедливости, а интеллигенция, этот «честный маклер», занимается разъяснением столь знакомых ей «общечеловеческих» идеалов, за что и провозглашается представителем народного сознания по преимуществу.

Теоретически эти упования покоятся на игнорировании специфического характера современного французского движения, на ультра-субъективном идеалистическом истолковании явлений, подлежащих введению в цепь социальных фактов, известных самому нашему автору. В практическом отношении эти фразы о потенциальной мощи фактически импотентной интеллигенции являются выражением анти-демократических тенденций, направленных во вред самым здоровым, самым могущественным, самым многообещающим стремлениям, вырастающим в современной России [1]).

БИБЛИОТЕКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

[1]) Настоящая статья была уже закончена, когда мы познакомились с соображениями, высказанными Изгоевым о тех же вопросах („Жизнь", 1899 г., № 2, „Французская Интеллигенция"). Взгляды Изгоева и наши собственные оказываются, в общем, весьма сходными.

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
Предисловие	3
I. **Общественные и умственные движения 70-х гг.**	5
I. Состояние общества	5
II. Народничество	18
III. Торжество политики над социальным утопизмом	41
IV. Либерализм, национализм и реакционные течения	49
V. Кризис народничества. Марксизм	56
II. **Общественные движения и умственные течения в период 1884—1905 гг.**	61
III. **Народничество прежде и теперь**	127
IV. **Французские события сквозь очки русского „этико-социолога“.**	171